

# Бернхард Шлинк Другой мужчина

## Сборник рассказов.

### ДЕВОЧКА С ЯЩЕРКОЙ Перевод Б. Хлебникова

#### 1

Картина изображала девочку с ящеркой. Они и смотрели друг на друга, и не смотрели, девочка глядела на ящерку мечтательно, а у той глаза были невидящими, блестящими. Поскольку девочка витала в мечтах где-то далеко, она вела себя так тихо, что и ящерка замерла на обломке скалы, к которому полулежа прислонилась девочка. Ящерка застыла с поднятой головкой и высунутым длинным язычком.

Мать мальчика называла изображенную на картине девочку «евреечкой». Когда родители ссорились и отец вставал из-за стола, чтобы скрыться в кабинете, где висела картина, мать кричала ему вслед: «Иди-иди к своей евреечке!», а иногда она спрашивала: «Разве этой картине с евреечкой тут место? Ведь мальчику приходится спать под ней». Картина висела над кушеткой, на которой мальчик спал после обеда, пока отец читал газеты.

Он не раз слышал, как отец внушал матери, что девочка на картине вовсе не еврейка. Дескать, алая бархатная шапочка, плотно надетая на пышные каштановые локоны, которые выбивались наружу, делая шапочку почти не видной, – это отнюдь не религиозный, даже не фольклорный предмет гардероба, а всего лишь модный аксессуар. «Девочки носили тогда такие вещи. Кроме того, ермолку надевают у евреев мужчины, а не женщины».

На девочке была темно-красная юбка, поверх яркой желтой блузы было что-то вроде оранжевого корсажа, ленты которого завязывались на спине. Впрочем, в основном фигуру и одежду заслонял обломок скалы, на который девочка положила свои по-детски пухлые руки, уткнувшись в них подбородком. Ей было лет восемь. Лицо выглядело вполне детским. Однако ее взгляд, пухлые губы, кудри на лбу и ниспадающие на плечи и спину волосы казались уже не детскими, а женственными. Тень от локонов на щеке и на виске скрывала некую тайну; пышный рукав, в котором исчезало голое предплечье, манил искушением. В море, которое за обломком скалы и узкой береговой полоской простиралось до самого горизонта, перекачивались тяжелые волны, лучи солнца, пробивавшиеся сквозь тучи, поблескивали на воде, светились на лице девочки, на ее руках. Природа дышала страстью.

Или, может, все было пронизано иронией? Страсть, искушение, тайна и женщина, пробуждающаяся в ребенке? Может, ирония и была повинна в том, что картина не только притягивала к себе мальчика, но и приводила его в замешательство? Он часто испытывал чувство замешательства. Это происходило, когда родители ссорились, когда мать задавала ехидные вопросы, а отец, читая газету и дымя сигарой, демонстрировал невозмутимость и превосходство, в то время как атмосфера в кабинете казалась настолько наэлектризованной, что мальчик не решался пошевелиться, даже почти не дышал. Его приводили в замешательство едкие реплики матери насчет евреечки. Да мальчик и не знал, что означает это слово.

Неожиданно мать прекратила разговоры о евреечке, а отец перестал пускать мальчика к себе в кабинет на послеобеденный сон. Какое-то время приходилось спать в собственной комнате, там же, где и ночью. Потом послеобеденный сон вообще отменился. Мальчик был рад этому. Ему исполнилось девять лет, его одноклассники и ровесники давно не спали после обеда.

Он скучал по девочке с ящеркой. Время от времени он прокрадывался в кабинет, чтобы взглянуть на картину и хоть недолго молчаливо поговорить с девочкой. За тот год он быстро вырос, сначала его глаза были на уровне тяжелой золотой рамы, потом на уровне изображенного обломка скалы и наконец оказались на уровне глаз девочки.

Он был сильным мальчиком, крупным, широким в кости. Когда он вытянулся, то его неуклюжесть выглядела не столько трогательной, сколько, пожалуй, угрожающей. Ребята опасались его, даже те, кому он во время игры, соревнований или потасовок старался помочь. Он оставался аутсайдером. И сам сознавал это. Правда, он не понимал, что остается аутсайдером из-за своей внешности, крупности и силы. Он думал, что дело во внутреннем мире, с которым и в котором он жил. Он не разделял его ни с одним из приятелей. Впрочем, никого туда и не приглашал. Если бы он был ребенком нежного склада, то, возможно, сошелся бы с другими нежными детьми, друзьями и товарищами по совместным играм. Но как раз таких детей он отпугивал особенно сильно.

Его внутренний мир был населен не только персонажами, с которыми он знакомился по книгам, по фильмам или картинкам, но и персонажами из внешнего, реального мира, приобретаемыми, однако, иной вид. Он чувствовал, как за тем, что являет внешний мир, скрывается еще нечто, что не проявляется вовне. Так, учительница по музыке что-то утаивала, приветливость домашнего доктора была наигранной, а соседский мальчик, с которым он иногда играл, был неискренен – он чувствовал все это задолго до того, как узнал о склонности соседского мальчишки к воровству, о болезни учительницы и о любви врача к мальчикам. То сокровенное, что не являло себя, он чувствовал не сильнее и не раньше других. Он не пытался и проникнуть в это сокровенное. Он предпочитал фантазировать, поскольку фантазии всегда оказывались ярче, волнительнее, чем действительность.

Дистанция между его внутренним миром и внешним соответствовала дистанции, которая по ощущениям мальчика наличествовала между его семьей и другими людьми. При этом отец его, будучи судьей в городском суде, стоял, как говорится, обеими ногами на земле. Мальчик видел, что отца радуют солидность его должности и знаки уважения, отец с удовольствием ходил в ресторан, постоянное место встречи авторитетных в городе людей, ему нравилось иметь определенное влияние на городскую политику, он согласился на избрание себя пресвитером в церковной общине. Родители участвовали в общественной жизни города. Они ходили на летний бал и на карнавальные торжества, устраивали обеды и принимали приглашения на обед. День рождения мальчика отмечался, как положено: на пятый день рождения пригласили пятерых гостей, на шестой – шестерых и так далее. И вообще все происходило так, как это считалось принятым в пятидесятые годы, с должной церемонностью и дистанцированностью. Но эта церемонность и дистанцированность вовсе не походили на то, что ощущал мальчик в качестве дистанции между своей семьей и другими людьми. Скорее, дело было в том, что родители, казалось, также что-то утаивали. Они всегда оставались начеку. Когда кто-либо рассказывал анекдот, они смеялись не сразу, а выжидали, какотреагируют остальные. На концерте или в театре начинали аплодировать лишь тогда, когда раздавались общие аплодисменты. В разговоре с гостями они воздерживались от высказывания собственного мнения, ждали, пока не будет произнесено близкое суждение, и лишь потом присоединялись к нему. Иногда отцу все-таки приходилось занимать определенную позицию и говорить об этом. Тогда он выглядел весьма напряженным.

А может, отец просто проявлял тактичность и не хотел никому ничего навязывать?

Мальчик задался этим вопросом, когда стал постарше и мог более осознанно воспринимать осмотрительность своих родителей. Он спрашивал себя и о том, почему родители с такой настойчивостью заботятся об отдельности своей спальни. Доступ в спальню родителей был ему запрещен, даже когда он был совсем маленьким, ему не разрешалось заходить туда. Правда, родители никогда не запирали дверь спальни. Впрочем, хватало недвусмысленности запрета и незыблемости родительского авторитета – по крайней мере до тех пор, пока однажды мальчик, которому к этому времени исполнилось тринадцать лет, не воспользовался отсутствием родителей и не заглянул в дверь, чтобы увидеть две отдельно стоящие кровати, две ночных тумбочки, два стула, деревянный шкаф и металлический шкафчик. Может, родители хотели скрыть, что не спали в одной постели? Или стремились воспитать в нем уважение к приватной сфере? Во всяком случае, они и сами никогда не заходили в его комнату без стука и приглашения войти.

### 3

Заходить в отцовский кабинет мальчику не запрещалось. Хотя там висела таинственная картина с девочкой и ящеркой.

В третьем классе гимназии учитель задал домашнее сочинение, в котором следовало описать какую-нибудь картину. Выбор картины отдавался на собственное усмотрение. «А надо приносить с собой картину, которая будет описана?» – спросил один из учеников. Учитель качнул головой: «Картину надо описать так, чтобы каждый читающий сочинение увидел ее перед собой». Мальчику сразу было ясно, что он будет описывать картину с девочкой и ящерицей. Он даже обрадовался такой возможности. Ведь предстояло внимательно изучить картину, а потом перевести изображение в слова и фразы, с помощью которых следовало воспроизвести картину для учителя и одноклассников. Радовался он и возможности посидеть в отцовском кабинете. Его окна выходили в узкий дворик, дневной свет и уличный шум были приглушенными, стенные стеллажи заставлены книгами, витал терпкий дух сигарет.

Отец не пришел к обеду домой, поэтому мать сразу же отправилась в город. Мальчику даже не пришлось спрашивать разрешения, он попросту уселся в кабинете, принялся рассматривать картину и писать. «На картине видно море, кусок берега, дюну и обломок скалы, а на ней девочку с ящеркой». Нет, учитель говорил, что начинать надо с переднего плана, перейти к среднему плану, а потом к заднему. «На переднем плане изображена девочка с ящеркой на обломке скалы или на дюне, дальше идет берег, а позади виднеется море». А это действительно море? И волны? Только волны бегут не от среднего плана в глубину, а из глубины к среднему плану. К тому же «средний план» звучит ужасно, хотя «передний» или «задний план» не лучше. А девочка? Разве это все, что можно сказать о ней?

Мальчик начал заново. «На картине изображена девочка. Она видит ящерку». Но и это было не все, что можно было сказать о девочке. Мальчик продолжил. «У девочки бледное лицо и бледные руки, каштановые волосы, на ней светлая блузка и темная юбка». Но и этого показалось мало. Он сделал еще одну попытку. «Девочка смотрит на ящерку, которая греется на солнышке». Разве это верно? Скорее, девочка смотрит не на ящерку, а поверх или даже сквозь нее. Мальчик помедлил. Потом решил. За первой фразой последовала вторая: «Девочка очень красива». Фраза получилась верной, а вместе с ней начало получаться и все остальное.

«Девочка смотрит на ящерку, которая греется на солнышке. Девочка очень красива. У нее тонкое лицо, гладкий лоб, прямой нос, а на верхней губе впадинка. У нее карие глаза и каштановые волосы. Хорошо видна только ее голова, но все остальное не так важно. А именно ящерица, скала или дюна, берег и море».

Теперь мальчик был доволен. Нужно только разобраться с передним, средним и задним планом. Особенную гордость вызывало выражение «а именно». Звучало элегантно и по-взрослому. Гордился он и тем, что назвал девочку красивой.

Он остался на месте, когда услышал, как отец открывает входную дверь. Слышно было, как отец ставит портфель, снимает и вешает пальто, заглядывает на кухню и в гостиную, стучится в детскую.

– Я здесь, – крикнул мальчик, он ровно положил черновые листы на свою тетрадь, рядом легла авторучка. Так обычно размещались на отцовском рабочем столе папки с документами, бумага и письменные принадлежности. – Я сел сюда, потому что нам задали сочинение с описанием картины, вот я и описываю картину. – Он выпалил свое объяснение, едва дверь кабинета открылась.

Отцу понадобилось некоторое время.

– Какую картину? Чем ты занимаешься?

Пришлось повторить объяснение. По отцовской позе, по его взгляду на картину, по морщинам на лбу мальчик сообразил, что сделал что-то не так.

– Тебя ведь не было дома, и я подумал...

– Ты... – Голос у отца прозвучал сдавленно, мальчик даже съежился, решив, что сейчас на него накричат. Но отец удержался. Покачав головой, он сел на вращающееся кресло между письменным столом и столиком, где обычно раскладывались папки с судебными делами и за которым с другой стороны сидел мальчик. Картина висела позади отца над письменным столом. Расположиться прямо за письменным столом мальчик не решился. – Не считаешь ли, что сочинил?

Мальчик начал читать, гордясь и робея одновременно.

– Весьма недурно, мой мальчик. Я прямо-таки вижу картину перед собой. Только..., – он помедлил, – это не предназначено для посторонних. Лучше тебе описать другую картину.

Мальчик был рад, что отец не накричал на него, заговорил так ласково и доверительно, поэтому был готов согласиться с чем угодно. И все-таки недоумение было слишком сильным.

– А почему эта картина не предназначается для посторонних?

– Разве ты не сохраняешь некоторые вещи для себя? Разве ты всем делишься с друзьями и тебе всегда необходимо их присутствие? Люди могут позавидовать, поэтому не стоит показывать им свои сокровища. Их либо расстроит, что у них нет того, чем обладаешь ты, либо в них проснется жадность и они захотят отнять у тебя то, что им не принадлежит.

– А разве эта картина – сокровище?

– Сам знаешь. Ведь ты замечательно описал ее, так говорят только о сокровищах.

– Она такая дорогая, что другие могут позавидовать?

Отец повернулся, взглянул на картину.

– Да, весьма дорогая. Не уверен, что сумел бы ее уберечь, если бы кто-либо позарился на нее. Поэтому лучше, чтобы никто не знал, что она у нас есть, ладно?

Мальчик кивнул.

– Давай-ка посмотрим альбом с репродукциями, ты наверняка найдешь что-нибудь подходящее.

#### 4

Когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, отец ушел с судейской должности, получив место в страховой компании. Мальчик чувствовал, что это получилось против желания отца, хотя тот никогда не жаловался. Не стал отец и вдаваться в объяснения. Лишь годы спустя мальчик узнал причину. Тогда им пришлось сменить прежнюю служебную квартиру на более скромную. Вместо бельэтажа в принадлежащем городу пятиэтажном здании вильгельминского стиля они теперь снимали одну из двадцати четырех квартир в типовом доме, построенном на окраине в рамках социальной жилищной программы. Четыре комнаты были маленькими, потолки низкими, из соседних квартир постоянно доносились шумы и запахи. Зато комнат было все-таки четыре – гостиная, спальня, детская, а отец сумел сохранить кабинет. Он уединялся там по вечерам, хотя больше не приносил с собой на дом

работу.

– Пить ты можешь и в гостиной, – сказала однажды вечером мать, – к тому же и пить, может, станешь меньше, если соблаговолишь перекинуться со мной хоть парой слов.

Изменилось и общение родителей с другими людьми. Прекратились званые обеды, вечера для дам или мужчин, когда мальчику приходилось принимать гостей у дверей, чтобы вешать их пальто в гардероб. Он скучал по тому настроению, которое воцарялось в доме, когда в гостиной накрывался стол с сервизом из белого фарфора и серебряными канделябрами, а родители, заканчивая поправлять фужеры, пепельницы и коробки с сигарами или тарелочки с печеньем, ожидали первых звонков. Он скучал по некоторым из прежних знакомых родителей. Иногда они расспрашивали его об успехах в школе или о других занятиях и даже вспоминали при следующих визитах, что именно он отвечал им в прошлый раз. Один хирург показывал ему операцию на плюшевом мишке, а геолог рассказывал об извержениях вулканов, землетрясениях и странствующих дюнах. Особенно скучал он по одной даме. Она отличалась от худошавой, нервной, суетливой матери своей дородностью и жизнерадостным добродушием. Когда он был совсем маленьким, она закутывала его своей шубой, у которой скользкая и блестящая шелковая подкладка пахла ее духами. Потом она дразнила его мнимым сердцем, которого за ним никогда не водилось, отчего он смущался, испытывая одновременно некую гордость; порой она играючи накрывала его полой шубы, и он на миг чувствовал мягкость и тепло женского тела.

Минуло довольно много времени, прежде чем появились новые гости. Это были соседи, коллеги отца по страховой компании или сотрудницы матери, которая теперь работала машинисткой в полицейском управлении. Мальчик замечал неуверенность в поведении родителей, которым хотелось освоиться в новом для них мире, не отрекаясь от старого; отсюда либо излишняя чопорность, либо чрезмерная фамильярность.

Мальчику тоже пришлось прилаживаться к иным условиям. Родители перевели его из прежней гимназии, которая находилась в нескольких шагах от старой квартиры, в новую, которая опять-таки располагалась поблизости от дома. Нравы в новом классе были поглубже, так что он уже не особенно выделялся среди остальных. Еще целый год он продолжал ходить к преподавательнице, которая давала уроки игры на пианино. Но потом родители сочли его музыкальные успехи ничтожными, уроки закончились, пианино было продано. А он дорожил велосипедными поездками на уроки музыки, поскольку проезжал не только мимо старой квартиры, но и мимо соседнего дома, где жила девочка, с которой он раньше иногда играл или ходил вместе по дороге в гимназию. У нее были густые рыжие волосы до плеч, веснушчатое лицо. Возле ее дома он притормаживал, надеясь, что она выйдет из подъезда, поздоровается, а он вызовется пройти с ней, поведет велосипед рядом, само собой получится, что они договорятся о следующей встрече. Даже не договорятся, а просто он узнает, где и когда она будет, и окажется там же. Он был еще слишком юн, чтобы назначать свидание.

Но увидеть ее во время велосипедных поездок ему не удавалось.

## 5

Неверно полагать, будто человек принимает жизненно важные решения, лишь будучи достаточно взрослым. Ребенок способен на столь же решительный шаг, определяющий его поступки и образ жизни. Конечно, ребенок не вечно придерживается однажды принятого решения, но ведь взрослые также отказываются от данных себе уроков.

Через год мальчик решил добиться к себе уважения в новом классе и в своем окружении. Это было не трудно, помогла сила, а кроме того, ум и находчивость, поэтому вскоре он занял место среди лидеров в той иерархии, которая существовала в его классе, основываясь, как и в любом другом классе, на зыбкой смеси разных качеств вроде силы, дерзости, бойкости на язык, а также состоятельности родителей. Такие имели вес и у девочек, правда, не в своей школе, где девочек не было, а в женской гимназии, которая

находилась неподалеку.

Мальчик ни в кого не влюблялся. Он просто выбирал себе девочку, которая пользовалась бы авторитетом, имела бы броскую внешность, бойкий язычок, репутацию труднодоступной, но опытной в отношениях с мальчиками. Он импонировал ей своей силой, уважением сверстников, а также тем, что, вроде, было у него что-то такое, чего она не могла получить у других, хотя желала этого. Он чувствовал это и порой давал понять, что обладает неким сокровищем, которое показывает далеко не каждому, однако, может, согласится показать ей, если... Если что? Если она будет гулять с ним? Целоваться? Спать? Он и сам точно не знал. Прилюдное ухаживание, которое делало ее все более и более податливой, было интересней, азартней, обещало больше, чем то, что происходило наедине. Пройтись с приятелями после уроков к женской гимназии, где, прислонившись к чугунной ограде, стояла она с подружками, положить ей руку на плечи, будто это само собой разумеется, или посылать ей воздушный поцелуй, болея за ее команду, когда девочки играли в гандбол, или прогуливаться с ней по пляжу, обращая на себя восхищенное внимание.

Первый же раз, когда они спали, обернулся для него катастрофой. У нее было достаточно опыта, чтобы иметь определенные ожидания, но все-таки не достаточно, чтобы помочь ему справиться с неловкостью. А у него не было той уверенности, которую придает влюбленность и которая скрашивает неловкость первого раза. Когда после закрытия купальни и обхода, сделанного сторожем, они прильнули за кустами друг к другу, ему вдруг все показалось фальшивым – поцелуй, ласки, желание. Все было не так. Словно предавалось все то, что он любил сейчас или раньше, – ему вспомнилась мать, ее подруга с шубой, соседская девочка с рыжими вихрами и веснушками, девочка с ящеркой. Когда все оказалось позади – неуклюжесть в обращении с презервативом, его слишком быстрый оргазм, неумелые, а ей даже неприятные попытки удовлетворить ее рукой, он прижался к ней, ища утешения за свой провал. Но она поднялась, оделась и ушла. Он остался лежать, съездившись, уставившись на ветви куста, под которым лежал на прошлогодней листве, на свое белье, на сетчатую ограду. Он оставался лежать, хотя замерз; ему почудилось, что надо промерзнуть, чтобы забыть их плачевное свидание, тщеславные ухаживания нескольких месяцев, как, наоборот, бывает нужно пропотеть, чтобы избавиться от простуды. В конце концов он встал и проплыл несколько кругов в большом бассейне.

Когда за полночь он вернулся домой, дверь в освещенный отцовский кабинет была открыта. Отец лежал на кушетке, храпел, от него разило перегаром. Одна из книжных полок свалилась, ящики письменного стола были вытащены и опустошены, на полу валялись книги и листы бумаги. Удостоверившись, что картина цела, мальчик выключил свет и закрыл за собою дверь.

## 6

Перед самым окончанием школы, когда по существу оставалось только ждать выдачи аттестата с оценками, он поехал в соседний крупный город. Предстояло ехать на поезде около полутора часов; за все эти годы он мог побывать там в театре, на выставке или на концерте, однако ни разу не сделал этого. Лишь однажды родители взяли его, маленького мальчика, с собой, чтобы показать тамошние церкви, ратушу, здание суда и большой парк в центре города. После переезда на новую квартиру родители вообще прекратили подобные экскурсии как с ним, так и без него, а возможность отправиться куда-либо одному ему поначалу как-то не приходила в голову. Позднее такая возможность стала ему уже не по карману. Отец лишился должности из-за пристрастия к алкоголю, мальчику пришлось параллельно с учебой в школе подрабатывать, а деньги отдавать матери. Только теперь, когда в связи с окончанием школы пришла пора настраиваться на скорый отъезд из города, он приготовился внутренне к тому, что родители останутся предоставленными самим себе, поэтому решил тратить заработанные деньги по собственному усмотрению.

Он не искал музей современного искусства, а оказался поблизости случайно. В музей

зашел, поскольку здание его поразило причудливой смесью архитектурных стилей – современная простота, с одной стороны, холодная мрачность, с другой, и все это сочеталось с китчем затейливых дверей и эркеров. Экспозиция отличалась широким диапазоном – от импрессионистов до «новых диких»; он осмотрел ее с должным вниманием, хотя и без особого интереса. Пока не увидел картину Рене Дальмана.

Картина называлась «На берегу», она изображала обломок скалы, песчаный берег и море, на камне делала стойку на руках девочка, обнаженная и красивая, одна ее нога была деревянной, не из дерева, а обычная стройная ножка, только с древесным узором. Нет, в этой стоящей на руках девочке он не узнал девочку с ящеркой, не мог он и сказать с уверенностью, что здесь изображались тот же обломок скалы, тот же берег, то же море. Однако все слишком напоминало полотно, висевшее дома, поэтому на выходе он купил почтовую открытку с картиной, а будь у него больше денег, купил бы и альбом о творчестве Рене Дальмана. Сравнив дома картину с открыткой, он обнаружил существенные различия. Однако было и что-то, что их объединяло, – только оставалось непонятным, чем это объяснялось, сходством изображения или восприятием.

– Что там у тебя? – Войдя в комнату, отец потянулся к открытке.

Мальчик отшатнулся, отцовская рука ушла в пустоту.

– Кто написал картину?

Взгляд отца сделался настороженным. Он был пьян, и в глазах его появилась та же настороженность, с какой он реагировал на открытую неприязнь и презрение, которые демонстрировали пьяному жена и сын. Бояться его они давно уже перестали.

– Не знаю, а в чем дело?

– Почему мы не продаем картину, если она такая ценная?

– Не продаем? Мы не можем ее продать! – Отец встал перед картиной, словно защищая ее от сына.

– Почему не можем?

– Тогда у нас ничего больше не будет. И тебе ничего не достанется после меня. Мы для тебя ее бережем, для тебя. – Обрадовавшись аргументу, который должен был убедить сына, отец повторял его снова и снова: – Мы с матерью пластаемся, чтобы сохранить картину, которая потом тебе достанется. А что я вижу от тебя взамен? Неблагодарность, одну неблагодарность.

Отец всхлипнул, мальчик ушел и вскоре забыл этот эпизод, картину из музея и Рене Дальмана. Он работал на складе тракторного завода, к тому же подрабатывал еще и официантом, это продолжалось, пока не начались университетские занятия, а университет он нарочно выбрал как можно дальше от дома. Город на балтийском побережье был непригляден, университет считался средним, зато здесь ничто не напоминало о родном южном городе, и уже в первые недели учебы он с удовлетворением отметил, что ни на лекциях юридического факультета, ни в университетских коридорах, ни в студенческой столовой не встречает знакомых лиц. Можно было все начать заново.

Сюда он ехал с пересадкой. Выдалось несколько часов, чтобы прогуляться по городу на берегу реки. Опять-таки случайно он оказался возле музея. Но здесь он уже не стал полагаться на случай, а сразу же спросил, где висят картины Рене Дальмана, и нашел два полотна. Одна картина, полтора метра на два, называлась «Послевоенный порядок», она изображала женщину, которая сидела со склоненной головой, подобрав под себя ноги и опираясь на левую руку. Правой рукой она задвигала ящик в собственный пах, в животе и груди тоже были ящики, ручки которых имели вид сосков или пупка. Ящики на груди и животе были наполовину выдвинуты и пусты, а в ящике, который торчал из паха, лежал наискось искалеченный мертвый солдат. Другая картина называлась «Автопортрет в образе женщины», это был поясной портрет смеющегося молодого человека с лысым черепом; под наглухо застегнутой черной курткой проступали груди, левой рукой он держал парик с русыми волосами.

На этот раз он купил монографию о Рене Дальмане и прочитал в поезде о детских и

юношеских годах художника, родившегося в Страсбурге в 1884 году. Его родителями были переехавший из Лейпцига продавец текстильных товаров и уроженка Эльзаса, которая была моложе мужа на двадцать лет; они хотели девочку, поскольку уже имели двух сыновей, а третий ребенок, девочка, умерла два года назад от воспаления легких, которое подхватила на зимней прогулке, куда ее взял отец. Рене рос как бы в тени своей умершей сестры, пока в 1902 году не родилась желанная вторая дочь, что принесло ему одновременно и освобождение, и обиду. Он рано занялся рисунком и живописью, успехами в школе не отличался, в шестнадцать лет хорошо сдал экзамены в Академию художеств города Карлсруэ.

Совершив переезд в университет, он снял квартирку – мансарду с угольной печкой и небольшим оконцем, туалет и умывальник находились пролетом ниже в коридоре. Зато здесь он был предоставлен самому себе. Он разложил вещи, монографию о Рене Дальмане поставил на нижнюю полку вместе с привезенными любимыми книгами. Верхняя полка предназначалась для новых книг, для новой жизни. Он не оставил дома ничего, что было ему дорого.

## 7

Когда он учился на третьем курсе, умер отец. Однажды, как это теперь часто бывало, отец пошел в пивную, там напился, по дороге домой споткнулся, упал под откос, не смог подняться и замерз. За все эти годы после отъезда он впервые вернулся домой – на похороны. Стоял январь, холодный ветер обжигал, лужи на дорожке от кладбищенской часовни до могилы заledenели, мать поскользнулась, едва не упала, поэтому сын взял ее под руку, на что раньше она не соглашалась. Она не могла простить ему столь долгого отсутствия.

Дома она предложила нескольким соседям, которые ходили на кладбище, бутерброды и чай. Заметив, что гости ожидают спиртного, встала:

– Кому не нравится, что я не подаю пиво или шнапс, может уходить. В этой квартире и без того было выпито слишком много.

Вечером мать с сыном сидели в отцовском кабинете.

– Все книги в библиотеке, наверное, юридические. Хочешь их забрать? Может, пригодятся? Все, что останется, я выкину.

Она оставила его одного. Он осмотрел библиотеку, которой отец всегда так дорожил. Книги, которые давно уже были переизданы. Журналы, подписка на которые была прекращена несколько лет назад. Единственная картина – девочка с ящерицей; в прежнем кабинете ей была выделена целая большая стена, а здесь она висела между стеллажами, но все равно явно доминировала в интерьере. Теперь он почти задевал головой за низкий потолок и глядел на девочку сверху вниз, вспоминая, как когда-то смотрелся с нею глаза в глаза. Он вспомнил рождественские елки, которые раньше выглядели такими высокими, а теперь казались маленькими. Но потом ему подумалось, что картина не стала меньше и не утратила своей притягательной, завораживающей силы. Он вспомнил девочку из дома, в мансарде которого жил, вспомнил и покраснел. Он называл ее «принцессой», они флиртовали друг с другом, она напрашивалась заглянуть к нему в мансарду, и для отказа ему приходилось собирать всю волю. Напрашивалась она вполне невинно. Но поскольку ей хотелось получить то, чего ей не позволяли, она пускала в ход все свое кокетство, отчего жесты, взгляды, голос делались столь искусительными, что он едва не забывал об ее невинности.

– Книги мне не нужны. Но завтра я позвоню букинисту. Несколько сотен марок он тебе заплатит, а может, и тысячу.

В кухне он подсел к матери за стол.

– Что ты собираешься сделать с картиной?

Она сложила газету, которую перед тем читала. Ее движения все еще были нервными,



немного суетливыми, что-то казалось в них еще молодым. Раньше она была стройной, теперь исхудала, кожа натянулась на скулах, на суставах рук. Волосы совсем побелели.

Он почувствовал внезапный прилив жалости и нежности.

– Что ты сама-то собираешься делать? – Вопрос прозвучал ласково, он хотел положить ладонь на ее руку, но мать отстранилась.

– Я перееду отсюда. На холме построено террасой несколько домов, я купила там однокомнатную квартиру. Больше одной комнаты мне не нужно.

– Купила?

В глазах ее промелькнула враждебность.

– Я объединила на одном банковском счете отцовскую пенсию и свои заработки. Сколько он брал на выпивку, столько же снимала со счета и я. Разве несправедливо?

– Нет. – Он усмехнулся. – Значит, отец пропил за десять лет целую квартиру?

Мать тоже усмехнулась.

– Не совсем. Но больше, чем сумма основного взноса на накопительный счет, с которого я расплатилась за квартиру.

Он помедлил.

– Почему ты не бросила отца?

– Что за вопрос. – Она покачала головой. – Есть пора, когда можно выбирать. Можно делать то или это, жить с тем человеком или с этим. Потом этот человек и его дела становятся частью твоей собственной жизни, а вопрос о том, почему ты продолжаешь жить собственной жизнью, довольно глуп. Ты про картину спросил. Ничего я не собираюсь с ней делать. Можешь забрать с собой или поместить в банке, если у них есть такие большие кассеты для хранения.

– А ты мне не расскажешь, в чем дело с этой картиной?

– Ах, мой мальчик... – Она печально взглянула на него. – Мне не хочется говорить об этом. По-моему, отец гордился ею, до самых последних дней. – Она устало улыбнулась. – Ему так хотелось навестить тебя, посмотреть, как идут твои дела на юридическом факультете, но ты нас ни разу не пригласил, а сам он не решался. Знаешь, дети иногда бывают не менее жестокими, чем мы, родители. Так же уверены в своей правоте.

Он собрался возразить, но подумал, что, возможно, она права.

– Мне очень жаль, – сказал он неопределенно.

Она встала.

– Спокойной ночи, мой мальчик. Завтра в семь утра я переезжаю. Когда выспишься и будешь собираться, не забудь картину.

## 8

Он повесил картину в мансарде над своей кроватью. Кровать стояла слева у стены, справа находились шкаф и книжные полки, под чердачным окном располагался письменный стол.

– Я на нее похожа. Кто это? – Девушка, задавшая вопрос, была студенткой, которая нравилась ему с первого семестра. Неужели действительно из-за сходства с девочкой? Ему никогда это не приходило в голову.

– Не знаю, кто она. Существовала ли она вообще. – Он хотел было сказать: «Во всяком случае, ты красивее». Но ему не захотелось предавать девочку с ящеркой. Хотя можно ли предать нарисованную девочку?

– О чем ты думаешь?

– О том, какая ты красивая.

Она и впрямь была очень красивой. Он лежал на кровати на спине, она прильнула к нему животом сверху. Положив руки ему на грудь и уткнув в них подбородок, она спокойно разглядывала его. А может, и не его? Может, она глядела куда-то сквозь него? Темные глаза и волосы, высокий лоб, румянец на щеках, изящный изгиб губ и крыльев носа – вся эта

прелесть была обращена к нему и странным образом существовала сама по себе. Или все это ему лишь казалось? Не превращалась ли в картину женщина, которую он любил? Не превращалась ли она в картину, потому что он ее любил? Обращенную к нему и одновременно недостижимую.

– Как зовут художника?

– Не знаю.

– Он же наверняка подписал картину. – Выпрямившись, она внимательно рассмотрела нижний край полотна. Потом взглянула на него: – Это же оригинал.

– Да.

– Ты знаешь, сколько это стоит?

– Нет.

– Видимо, ценная вещь. Откуда она у тебя?

Ему вспомнился давний разговор с отцом.

– Иди сюда. – Он протянул руки. – Знать не хочу, сколько она стоит. Если бы знал и сказал тебе, а ты бы тоже знала, мне пришлось бы задаваться вопросом, не любишь ли ты меня из-за моей картины.

Она юркнула в его объятия.

– Не глупи. Если картина действительно ценная, ее нельзя держать дома. Летом тут жарко, а зимой холодно, да еще вдруг дурацкая печка твой чердак и весь дом подожжет. Сам-то ты убежать успеешь, а картина сгорит. Ценной картине нужна постоянная умеренная температура и влажность, а может, и еще что-то. А если ее нельзя держать здесь, то лучше сразу продать. Ты столько работаешь, а позволить себе ничего не можешь, денег не хватает. Глупо.

Чтобы отвлечь ее, он принялся рассказывать о своей новой работе. Но перед уходом она все-таки сказала:

– Знаешь что?

– Что?

– Брат у меня изучает историю искусств. Пускай посмотрит твою картину.

Он не хотел, чтобы дело дошло до этого. Когда она пришла в следующий раз, сунул картину под кровать, а девушке соврал, что картину забрала мать. Оказалось, что девушка поговорила с братом, но тот не мог припомнить ни похожего художника, ни похожего мотива, вспомнился только журнал «Lézard violet», который выпускался в Париже с 1924 по 1930 на переходе от дадаизма к сюрреализму; вышло десять номеров. Потом она забыла о картине.

Когда девушка уходила, он вновь вешал картину над кроватью. Поначалу это напоминало игру; он с улыбкой снимал картину, с улыбкой вешал обратно, прощался с девочкой и шутливо здоровался. Позднее ему стала докучать необходимость снимать картину из-за своей посетительницы, а потом и сама посетительница. Когда они спали вместе или лежали рядом, он ждал, чтобы она поскорее ушла и можно было бы вернуть картину на место, вновь начать привычную жизнь.

В конце концов они расстались.

– Не знаю, что творится у тебя в голове и в сердце. – Она коснулась пальцем его головы и груди. – Может, здесь и есть для меня место, только слишком уж маленькое.

## 9

Страдал он сильнее, чем мог ожидать. Иногда злился, поскольку ему казалось, что без картины все могло выйти иначе. Но даже эта злость связывала его с картиной. Он разговаривал с девочкой. Жаловался, что без нее все было бы лучше. Что во всем виновата она. Что теперь она могла бы глядеть на него поприветливей. Не гордится ли она избавлением от соперницы? Только особенно воображать не стоит.

Однажды вечером он вновь принялся читать монографию о Рене Дальмане. Закончив

академию, молодой художник поселился в доме богатой вдовы, жительницы Карлсруэ, которая устроила ему мастерскую. В ханжеском столичном городе<sup>1</sup> это вызвало скандал. Впрочем, по замечанию биографа, пара наслаждалась им больше, чем своим непростым романом. Он попытался сделать карьеру в качестве портретиста, первые портреты были вполне традиционными, но поскольку ему приписывался скандальный образ жизни, он начал писать скандальные портреты – например, чиновный череп председателя земельного верховного суда в Карлсруэ, будто вырезанный из дерева, и портрет его сына, хваткого лейтенанта, на лице которого были запечатлены эполеты с канителью и сабля. Председатель затеял судебный процесс, Рене Дальману пришлось спасаться бегством в Бретань, где имелся дом, принадлежавший семье его матери, большинство родственников которой покинули Эльзас в 1871 году. Здесь, где когда-то он провел много каникул с родителями, братьями и сестрами, Рене Дальман оставался до начала мировой войны, на которую отправился добровольцем во французскую армию, служил санитаром. В эти годы он ограничивался набросками, на другое не хватало ни времени, ни средств. Наряду с ранеными, искалеченными, умирающими солдатами появляются религиозные мотивы: Адам и Ева как новобрачные, заблудившиеся в райских кущах полей сражений, калека Христос, исцеляющий покалеченного солдата. По окончании войны Рене Дальман живет в Париже, проводит много времени в Café Certa, хотя и не причисляет себя к дадаистам, водит знакомство с Андре Бретоном, вслед за которым вступает в коммунистическую партию, однако не присоединяется к сюрреалистам. Он предпочитает держаться в стороне, пока вместе с несколькими друзьями не основывает журнал «Lézard violet». Рене Магритт написал туда эссе о живописи как мышлении, Сальватор Дали – о девушке, которую готов полоснуть бритвой по глазам; журнал опубликовал в переводе с английского без разрешения автора небольшую статью Макса Бекмана о коллективизме, написанную им во время свадебного путешествия. Рене Дальман занимался графическим оформлением журнала и сам писал для него, например об освобождении фантазии от произвола.

Все это было не особенно интересно. Вскоре он вообще перестал читать, просто листал страницы. В конце книги приводились хронология основных биографических событий, библиография публикаций Рене Дальмана и работ о нем, а также каталог его выставок. На 1933 год приходилась выставка в парижской галерее Colle под названием «Est-ce qu'il y a un surréalisme allemand?», отмечалось, что каталог иллюстрирован картиной Рене Дальмана «Ящерица и девочка». Ящерица и девочка.

На следующее утро он отправился в университетский Институт истории искусств, где тщетно пытался разыскать каталог выставки 1933 года. Он пропустил лекции, отпросился, сославшись на грипп, в ресторане, где днем подрабатывал официантом, и поехал в тот город, где когда-то увидел послевоенную картину Рене Дальмана и его автопортрет, а также купил книгу о нем. Здесь также имелся университет с Институтом истории искусств, однако и в его библиотеке каталога не нашлось. Он почувствовал нервное возбуждение. Библиотекарша заметила это, поинтересовалась причиной. Он объяснил, что разыскивает картину Рене Дальмана «Ящерица и девочка», а точнее, не может найти каталог выставки, где воспроизведена эта картина. Спросил, в каком из ближайших городов еще есть Институт истории искусств.

– Почему вам нужна репродукция именно из каталога?

Он недоуменно взглянул на библиотекаршу.

– Возможно, художник сам фотографировал собственную картину, это мог сделать его галерист, какой-либо журнал или, наконец, музей, где она хранится.

– Хранится в музее? В каком?

– У нас есть изоархив. Пойдемте.

Он прошел за ней по коридору в помещение с проектором и рядами коробочек, на

---

<sup>1</sup> Карлсруэ был столицей великого герцогства Баден. – Здесь и далее прим. переводчика.

которых имелись таблички с фамилиями художников. Почувствовал, что успокаивается. Даже отметил изящную фигурку библиотекарши, ее легкую походку, внимательный взгляд, чуть насмешливый из-за его возбуждения. Она достала с полки коробочку, просмотрела опись на внутренней стороне крышки, вынула диапозитив размером с почтовую открытку, упакованную в черную фольгу, вставила диапозитив в проектор.

– Можете выключить свет?

Найдя выключатель, он погасил свет. Заработал проектор.

– Боже мой! – вырвалось у него. Это была его картина. Девочка, берег, каменная глыба. Только слева в картине была не девочка, а огромная ящерка, зато на камне нежилась не ящерка, а крошечная девочка с прелестными темными локонами, бледным личиком, в светлом лифе и темной юбке. Она лежала на боку, головка на ладони, игривое полудитя, кокетливая полуженщина.

## 10

– В каком музее хранится картина?

– Надо посмотреть в библиотеке.

Выключив проектор и убрав диапозитив, она вернулась в зал с книжными стеллажами. Он глядел, как она берет с полки книгу за книгой, перелистывает страницы.

– Надеюсь, меня пригласят за это хотя бы в ресторан? – Она перевернула еще несколько страниц. – О!

– Что там?

– Картина не хранится ни в одном из музеев. Пропала. Утеряна и, возможно, уничтожена. Последний раз выставлялась в 1937 году на мюнхенской выставке «Дегенеративное искусство».

Он недоуменно взглянул на нее.

– Экспонировалась в пятом разделе. В сопроводительном тексте говорилось: «Порнография не нуждается в наготы, а дегенеративное искусство не нуждается в искажении изображения. Еврей может искусно изобразить немецкого предпринимателя капиталистическим распутником, а немецкую девушку – его сластолюбивой потаскухой. Порнография, марксизм и классовая ненависть сливаются у евреев воедино. Если представить себе, что немцам и немкам, осматривающим эту выставку, приходится...»  
Читать дальше?

– А у Рене Дальмана есть картина «Девочка с ящеркой»?

Она вновь принялась перелистывать страницы.

– Как насчет ресторана?

– Когда вы здесь заканчиваете?

– В четыре.

– В это время рестораны еще закрыты.

– Тогда не будет вам девочки с ящеркой. Вы уверены, что картина называется именно так?

– Не уверен. – Так называли картину отец с матерью, а потом и он сам. Возможно, Рене Дальман назвал ее как-то иначе. – Во всяком случае, изображена на ней девочка с ящеркой, но не так, как мы только что видели, а, можно сказать, наоборот.

– Любопытно. Где же вы ее видели?

– Не помню уже. – Потеряв осторожность, он едва не сболтнул лишнее. Спросил больше, чем мог себе позволить. По счастью, он не представился. Можно исчезнуть, не оставив следа.

Пока он размышлял, она присмотрелась к нему.

– Что с вами?

– Мне пора. Буду ждать вас в четыре у выхода, ладно?

Он выбежал из института, ничуть не смущаясь тем, что выглядело это по-дурацки.

Лишь очутившись на скамейке у озера в центре города, он принялся размышлять и понял, как мало ему, собственно, было известно и сколько еще предстоит узнать. Поэтому к четырем часам он появился у Института истории искусств. Она спустилась к нему по ступеням, вновь дружелюбно и чуть насмешливо поглядывая.

– Ящерицы – существа робкие.

– Пожалуй, стоит кое-что объяснить. Может, посидим на солнышке у озера?

Он начал рассказывать о себе по пути к озеру. Учится на юридическом, подрабатывает ассистентом у адвоката, который занимается делами о наследстве – спорами между наследниками, розыском наследников и оценкой наследства. Дома у одного покойного американца обнаружилась картина – экспертизы нет, авторская подпись отсутствует; возможно, картина не представляет собою никакой ценности, а может, наоборот; во всяком случае, ему поручено все выяснить.

– У американца?

Он подстелил куртку, они сели на траву у озера.

– Это немец, эмигрировавший в Америку, поэтому наследников мы разыскиваем в Германии.

– А у вас нет репродукции?

– При себе нет. Но я помню картину наизусть. – Он описал ее.

– Мда. – Она искоса взглянула на него. – А ведь вы прямо-таки влюблены в эту картину.

Он покраснел, отвернулся, делая вид, будто следит за яхтой.

– Да ладно уж. Если это и впрямь Дальман, то здорово. Видели его работы в нашем музее? – Она перевела разговор на музей, на город, на то, как тут живет, откуда оба родом, где хотели бы побывать. Он попытался разузнать, как устанавливается автор картины, ее судьба, подлинные владельцы. Она отвечала на эти вопросы, но старалась вновь сменить тему. Когда солнце зашло за крыши домов и похолодало, они прошли вдоль озера.

– У вас есть кто-нибудь? – Ему казалось, что ответ может быть только утвердительным. При ее живости, уме, остроумии, при том, что она была не просто симпатичной, но имела милую манеру смахивать белокурые локоны, морщить нос.

– Расстались три месяца назад. А у вас?

Он прикинул: четыре месяца назад.

Поужинали они в гостиничном ресторане. Он чувствовал, что готов влюбиться, готов все рассказать, довериться ей. Но приходилось оставаться начеку, избегать некоторых тем. Например, разговора о родителях, о женщинах, которые ушли от него, о женщинах, которые ему нравятся, о том, как он живет. Он не мог раскрыться так, как ему хотелось бы. Ему пришло в голову, что если бы они встретились в его городе и решили пойти к нему домой, то этого нельзя было бы сделать. Там висела картина.

Она проводила его на вокзал. На перроне она написала ему свою фамилию, адрес и номер телефона. Помедлив, он написал в ответ свою настоящую фамилию и настоящий адрес.

– Ты детективом стать не собираешься, а? – В глазах ее опять мелькнула добродушная насмешливость.

– А что?

– Да так. – Она обняла его за шею, быстро поцеловала в губы. – Сужу по твоим вопросам – куда лучше обращаться насчет картины, «Сотби» или «Кристи». Если уж прочитана о художнике книга, то следовало бы, мой маленький детектив, посмотреть, кто автор, и написать ему через издательство. При условии, конечно, что не нужно скрывать что-нибудь такое, чего никто не должен узнать.

– Поезд сейчас отойдет.

По громкоговорителю действительно объявили отправление. Он уже стоял в поезде.

– Скрытничать трудно.

Он успел лишь кивнуть. Двери закрылись.

– Тебя ждет трудная судьба, – сказал он девочке с ящеркой. – Она будет становиться все больше, ты все меньше, а в конце концов тебе придется строить ей глазки. Ты, девочка, будешь заигрывать с ящерицей! – Помолчав, он продолжил: – Может, ты поцеловала ее, чтобы она превратилась в принца, а вместо этого она так выросла, а ты сделалась такой маленькой? – Он взглянул на девочку, и то, что сотворил с ней Рене Дальман, показалось ему подлостью, едва ли не кощунством. – Может, ты была его сестрой? Он ненавидел тебя? Или любил и ненавидел одновременно?

Он вышел из комнаты в туалет с крошечным умывальником, над которым висела узкая полочка для зубной щетки, бритвенных принадлежностей, расчески и щеточки. Снял лезвие с бритвы, вернулся в комнату.

– Наверно, тебе это не понравится. Но иначе нельзя.

Он взрезал бумагу, которой была заклеена обратная сторона рамы. Оказалось, что к толстой позолоченной раме был привинчен подрамник, к которому и крепилось полотно. Мелкие винтики удалось открутить отверткой, которой он обычно подтягивал ослабившиеся контакты. Он опасался, что полотно не отстанет от позолоченной рамы, однако та снялась без особых усилий.

Он прислонил картину к стене возле кровати, сам сел на пол напротив. В правом нижнем углу виднелась подпись «Дальман». По-детски чистописательский почерк, немного наискосок «Д» с завитушкой. Открытие не слишком удивило его. Скорее, было бы удивительным, если бы подпись не обнаружилась или обнаружилась бы другая фамилия. Поразило его то, что всего несколько сантиметров открывшегося полотна, ранее заслоненные рамой, меняли впечатление от картины. Над головой девочки увеличился небесный просвет, острие локотка теперь не было съедено рамой, и ящерица проявилась во всю свою величину – неожиданно картина словно распахнулась, в ней стало просторней, как вдруг проясняется в груди и в голове, когда у моря чувствуешь дыхание ветра и вдыхаешь запах прибоа.

– Это тебя мой отец туда запер? А может, прежний или все еще нынешний владелец? И кто он или кто был он такой?

Изучив раму, он обнаружил штамп частного галериста из Страсбурга.

В поезде по дороге в родной город он дочитал биографию Рене Дальмана до конца. В 1930 году он последовал из Парижа в Берлин за Лидией Дьяконовой. Она была дочерью врача-еврея, который крестился в православную веру, выступала в кабаре, была существом загадочным, отличалась гибкостью и красотой. Она была ящерицей Дальмана, его ящеркой. Его письма к ней полнились неиссякаемой нежностью. Поскольку немецким он владел без акцента и имел немецкую фамилию, то сразу же был признан и оценен в качестве немецкого художника; Людвиг Юсти<sup>2</sup> отвел ему во «Дворце кронпринца» один из небольших залов. В 1933 году, когда серия работ Дальмана «Strassenzotententanz» попала на выставку «Государственное искусство 1918–1933»,<sup>3</sup> устроенную в Карлсруэ, он еще мог позволить себе публичные издевки над ее организаторами. Немецкое государственное искусство? Эта серия создавалась в 1928 году в Париже. Но потом Эберхард Ханфштенгель<sup>4</sup> закрыл зал

---

<sup>2</sup> Людвиг Юсти (1876–1953) – директор Берлинской национальной галереи, где по его инициативе был создан отдел современного искусства; в 1933 г. уволен нацистами с поста директора.

<sup>3</sup> Предшественница «Дегенеративного искусства». После прихода к власти национал-социалисты организовали ряд выставок, призванных «разоблачить» модернизм в живописи. Первой из них стала названная выставка в Карлсруэ. Ее название имеет в виду период Веймарской республики.

<sup>4</sup> Эберхард Ханфштенгель (1876–1957) – искусствовед, директор крупных художественных музеев.

Дальмана, а однажды вечером штурмовики разгромили кабаре, в котором выступала Лидия. В 1937 году, еще до открытия мюнхенской выставки «Дегенеративное искусство», поженившиеся тем временем Рене и Лидия Дальман покинули Германию и переехали в Страсбург. Несмотря на французское гражданство, его продолжали считать немецким художником. В 1938 году его экспонировали на лондонской выставке «Twentieth Century German Art». В Амстердаме и Париже выставлялись его полотна, конфискованные немецкими властями и отданные на аукционную продажу, а позднее выкупленные галеристами и коллекционерами, которые поддерживали художника или симпатизировали ему.

После того как немцы заняли Страсбург, следы Рене и Лидии Дальман теряются. Остались ли они в Страсбурге, бежали ли в неоккупированные районы Франции или сумели эмигрировать через Португалию в США – биограф добросовестно привел все аргументы за и против каждой версии, однако ясного ответа дать не смог. Судя по всему, они в любом случае сменили фамилию и имена. В 1946 году в Нью-Йорке состоялась выставка Рона Валломе, полотна которого предвосхищали по своей живописной манере «новых диких», но характеризовались дадаистско-сюрреалистической тематикой. Не скрывался ли под именем Рона Валломе, как предполагали некоторые искусствоведы, Рене Дальман? Но и о Роне Валломе достоверных сведений не осталось.

Ключей от новой материнской квартиры у него не было. Присев на ступеньку у подъезда, он принялся разглядывать булыжную дорогу, которая вела к домам и гаражам, расположенным террасами на склоне холма, обсаженного вечнозеленым кустарником, розы у подъезда, которыми мать пыталась скрасить стерильную атмосферу типовой застройки. Он размышлял об отце. Ему пришло в голову, что в сущности ничего не знает о нем, об его родителях, погибших во время бомбежки, об его учебе, о том, чем он занимался до и во время войны, и об его послевоенной карьере.

## 12

– Что делал отец во время войны?

Он сидел с матерью на веранде. Она вернулась с работы, приготовила чай. Взгляд ее скользил поверх крыш.

Она вздохнула.

– Ну вот, начинается.

– Ничего не начинается. Отец умер, я не собираюсь ни обвинять, ни осуждать его. Просто хочу выяснить, как попала к нему картина Рене Дальмана, цены которой я точно не знаю, но полагаю, что тысяча сто она стоит. И почему он окутал ее такой тайной?

– Потому что боялся, что его права на картину будут оспорены. Он заседал в военном трибунале Страсбурга; оказалось, что люди, у которых он квартировал, были евреями, они скрывались с помощью фальшивых документов, и он выручил их. В благодарность получил картину.

– Тогда в чем же у отца была проблема?

– После войны художник с женой исчезли, пошли слухи. Отец испугался, что если картину увидят, могут возникнуть подозрения. Ведь он не имел доказательств, что получил ее в подарок.

Он взглянул на мать. Она сидела рядом, но смотрела в сторону.

– Мама?

– Да? – Лица она не повернула.

– Ты жила тогда в Страсбурге? Ты сама была свидетельницей или узнала все потом со слов отца?

– На что я была нужна ему в Страсбурге во время войны или он мне?

---

– Ты поверила его рассказам?

Она все еще не поворачивала к нему головы. Он видел ее профиль, не замечая ни малейшего признака смущения, раздражения или огорчения.

– Когда в сорок восьмом он вернулся из французского плена и мы снова увиделись, у меня было слишком много других забот, чтобы интересоваться его военными историями. Каких только историй не принесли люди с войны!

– Если ты ему поверила, почему тогда все время говорила про «евречку»?

– А ты запомнил?

Он не ответил.

– Так почему?

– Я думала, что это дочка художника, а они были евреями.

– Это не объясняет издевательского тона. – Он качнул головой. – Нет, ты не поверила отцу. Не поверила в историю насчет спасения евреев. Или решила, что это не вся история и что у него что-то было с этой девочкой. Может, он ее шантажировал? Принуждал? Ты знаешь, что это жена художника?

Она промолчала.

– Почему отец лишился судейской должности? – Он взглянул на нее. Ее подбородок вздернулся, губы дрогнули, было видно, что она отказывается отвечать на подобные вопросы. – Неужели лучше, если я начну расспрашивать его тогдашнее начальство или сослуживцев? Наверняка кто-либо поймет, что мне как будущему юристу нужно знать, в чем было дело.

– Он работал в трибунале. Приходилось быть суровым. Жестоким. Думаешь, таких любят?

– Нет, но только из-за этого его не лишили бы судейской должности после войны.

– Его обвинили в том, чего он не совершал. Но само обвинение было столь ужасным, что он не захотел разбирательства. В том числе ради тебя и ради меня.

Он снова взглянул на нее.

– Якобы он вынес смертный приговор одному офицеру, который укрывал евреев от полиции. Раз уж тебе кажется, что ты должен все знать, – этот офицер был его другом, и отец якобы сам донес на него.

– Тот, кто выдвинул обвинение, имел, видимо, свидетелей или документы. Газеты этим сильно заинтересовались?

– Большие газеты, не местные. Здесь все быстро замяли.

Он мог разыскать старые газеты и журналиста, который выдвинул обвинения против отца, ознакомиться с материалами этого журналиста. Возможно, удалось бы установить адрес отца в Страсбурге и других жильцов его дома. Может, существовали списки евреев, которых увозили из Страсбурга в лагеря смерти? Остались ли родственники Рене Дальмана, с которыми стоило поговорить?

– А что говорил отец об этих обвинениях? – Вопрос едва прозвучал, а ему уже расхотелось слышать ответ.

– Говорил, что сам он вместе с тем офицером и другими офицерами помогал евреям и что офицером, которому вынесли смертный приговор, пришлось пожертвовать, чтобы не пострадали все остальные, в том числе и евреи. Это просто идиотское совпадение, что именно ему выпало вести процесс и выносить приговор.

Он засмеялся.

– Значит, отец все делал правильно? Просто другие его неправильно поняли?

Мать предложила ему переночевать на кушетке; ей самой, дескать, все равно часто приходится спать на полу из-за больной спины. Он отказался, не мог допустить мысли о том, чтобы лечь на кушетку, где обычно спала мать, почувствовать ее запах и вмятинки, которые



сохранились от ее тела.

Проснувшись ночью, он настолько сильно ощутил присутствие матери, будто лежал рядом. Ощутил ее запах и дыхание. Разглядел в лунном свете платье, аккуратно повешенное на спинку стула и расправленное на сиденье. Порой, когда она, ворочаясь во сне, придвигалась к краю кушетки, свет падал на лицо, и он видел ее седые волосы, жесткие черты лица. Он знал, что раньше мать была красивой женщиной, видел фотографию, снятую отцом во время свадебного путешествия; на фотографии она шла ему навстречу по парковой аллее, в светлом платье, легкой походкой, с нежным, удивленным, счастливым лицом. Сам он не мог вспомнить, чтобы когда-либо видел ее такой счастливой и нежной по отношению к себе или к отцу. Была ли виновата в этом война? Или события, произошедшие в Страсбурге? Может, отец или кто-либо другой сделал что-то, чего она не сумела простить? Но почему она была такой холодной по отношению к нему самому? Потому что он был сыном своего отца?

Ему стало тоскливо. Он почувствовал жалость к матери, к отцу и к себе, особенно к самому себе. Присутствие матери, ее платье, дыхание, запах были ему неприятны, но в то же время он страдал от того, что это было ему неприятно. Почему не осталось от детства воспоминаний о материнской ласке и нежности? Может, теперь он смог бы вспомнить ее прежней и продолжал бы любить в ее нынешнем облике?

Утром она вручила ему папку, заведенную отцом. Там были собраны газетные вырезки об его деле, наклеенные на белые листы с пометками наверху, которые указывали на источник; на правом поле стояли вопросительные или восклицательные знаки, выражавшие его возражения или согласие. Порою он отвергал написанное, иногда вносил правку, как это делают с корректурой рукописи. Так, например, перечеркнув неверное указание собственного возраста, он провел стрелку на поля, где написал правильный возраст. Точно так же были исправлены неверные данные о сроке его службы в трибунале Страсбурга, звания причастных к делу офицеров, ошибки в изложении событий с подачей и отклонением прошения о помиловании, дата казни того офицера, которому он вынес смертный приговор. Особенно большим количеством поправок пестрела длинная статья из одной известной газеты. Под ней лежали несколько листов, напечатанных на хорошо знакомой ему пишущей машинке и озаглавленных «Опровержение». «Не соответствует действительности утверждение, будто моя служба в военном трибунале Страсбурга началась 1 июля 1943 года. На самом деле...» И так далее, листок за листком. «Не соответствует действительности утверждение, будто я преднамеренно вошел в доверие к обвиняемому и злоупотребил этим доверием, чтобы выудить у него сведения относительно его стремления укрыть от ареста лиц еврейской национальности. На самом деле я по мере сил оказывал поддержку обвиняемому в указанном стремлении, предупредил его о грозящей опасности, пытался спасти как его, так и лиц еврейской национальности, даже тогда, когда серьезная опасность возникла для меня самого и для исполнения служебного долга. Не соответствует действительности утверждение, будто я вынес смертный приговор, руководствуясь своекорыстными мотивами, и злонамеренно извратил закон, что обернулось против обвиняемого. На самом деле перед лицом имевшихся доказательных материалов, свидетельств и фактов я не мог принять иного решения, кроме вынесения смертного приговора. Не соответствует действительности утверждение, будто я незаконно обогащался за счет лиц еврейской национальности, в частности путем противоправного присвоения движимого имущества, якобы доверенного мне лицами еврейской национальности, которые совершили побег или планировали таковой. На самом деле я не имел ни полномочий на распоряжение еврейским имуществом, ни обязанностей представлять имущественные интересы лиц еврейской национальности, а следовательно, не мог злоупотребить данными полномочиями или нарушить соответствующие обязанности. Не соответствует действительности утверждение, будто я...»

Пока он читал, мать смотрела на него. Он спросил:

– Ты знакома с этим опровержением?

– Да.

– Газета опубликовала его? Отец отсылал его в редакцию?

– Нет. Адвокат возражал.  
– А ты?  
– Думаешь, отец стал бы меня спрашивать?  
– Но как ты отнеслась к этому? Как ты отнеслась бы к опровержению, если бы оно было опубликовано?

– Как отнеслась? – Она пожала плечами. – Он хорошо обдумал каждую фразу. Его нельзя было бы подловить ни на одном слове.

– Он просто списывал параграфы уголовного кодекса. Он цитировал их, чтобы показать, что его нельзя осудить ни по одному из пунктов. Но читается это ужасно. Так, будто он готов во всем признаться, однако настаивает при этом на своей неподсудности. Это похоже на признание, что ты отравил человека, но настаиваешь при этом, что отравленное блюдо было приготовлено в строгом соответствии с классической поваренной книгой. Вот как это читается.

Она взяла папку, подровняла листы, закрыла ее.

– Он сделался осторожным. Во время войны много чего произошло, на всю жизнь хватит расхлебывать. Вот он и осторожничал после войны, в том числе из-за тебя, из-за меня. Даже пьяный он не терял бдительности. Ты же знаешь, что пьяные часто пробалтываются о таких вещах, о которых даже упоминать не должны. С отцом этого не случилось никогда.

Она словно гордилась этим. Гордилась, что ее муж хотя бы не бахвалился тем, что причинил ей и другим.

– Он когда-нибудь просил у тебя прощения за то, что причинил тебе?

– Прощения, у меня? – Она недоуменно взглянула на него.

Он сдался. Было ясно, что она ничего не скрывает, просто не знает, чего ему надо, не понимает, почему и на чем он настаивает. Она хотела, чтобы он оставил ее мужа в покое, как это сделала она сама. Рана в ее душе зарубцевалась, а вместе с тем ороговела нежная душевная ткань, способная на любовь и счастье. Вероятно, когда рана была еще свежа и болела, ее можно было исцелить. Но теперь поздно. Давно уже поздно. Она слишком долго жила с этими рубцами, ложью, осторожностью.

Внезапно его поразила одна мысль. Мать не только сейчас хотела от него покоя. Она всегда, сколько ее помнил, хотела оставаться в покое, и оставляла в покое его самого. Словно он был посторонним. Словно однажды он доставил ей слишком сильное, слишком глубокое беспокойство.

– Отец изнасиловал тебя, когда ты зачала меня? Это произошло, когда он жил в Страсбурге, творил подлые дела и у него что-то было с той еврейкой? Это произошло ночью, ты знала обо всем, не хотела с ним спать, а ему было наплевать на то, что ты знаешь и чего ты хочешь, он изнасиловал тебя, да? Так я и родился? Ты не смогла мне этого простить?

Она качала головой, снова и снова. Тут он заметил, что она плачет. Сначала она застыла молча, только слезы катились по щекам, замирали на подбородке и капали на юбку. Но потом она подняла руки, чтобы утереть слезы, и всхлипнула.

Он встал, шагнул к ее стулу, попытался обнять. Она продолжала сидеть, не шелохнувшись, не принимая его объятий. Он пробовал говорить, но она не воспринимала его слов. Молчала она и тогда, когда он попрощался.

## 14

Он вернулся назад, зажил прежней жизнью. Однажды библиотекарша написала, что у нее есть дела в его городе. Он встретил ее, после прогулки и обеда пригласил к себе. Картину он засунул под кровать.

Его мучило, однако, беспокойство. Что если она случайно заглянет под кровать и увидит картину? Или вдруг провалится сетка с матрасом? Картина будет повреждена, а кроме того, опять-таки замечена. Что если во сне он начнет разговаривать с девочкой на картине? Днем он часто делал это. «Девочка с ящеркой, – говорил он, – пора мне опять за

учебу», и рассказывал ей, чем ему предстоит заниматься. Или спрашивал ее, как ему сегодня одеться. Или бранил утром за то, что проспал, а она не разбудила. Или расспрашивал о том, как поступили с ней Рене Дальман и отец. «Тебя подарили отцу? Или отец обманом заполучил тебя у художника? Когда художник хотел бежать вместе с тобой? Почему именно с тобой?» И часто задавал один и тот же вопрос: «Что же мне делать с тобой, девочка с ящеркой?»

Может, следовало разыскать наследников Дальмана, чтобы передать им картину? Но он не признавал наследств. Или лучше выручить за картину деньги, чтобы жилось получше? Или сделать какое-либо доброе дело? Есть ли у него долг перед теми, кто пострадал по вине отца? Поскольку ему достались ценности, полученные благодаря отцовскому преступлению? Но что это, собственно, за ценность? То, что он может глядеть на девочку с ящеркой, разговаривать с ней? Подарок это или злой рок?

– Что стало с твоей картиной?

Они лежали в постели, глядя друг на друга.

– Ничего нового узнать не удалось. – Он изобразил на лице мину, которая означала некоторое огорчение, но в общем-то, безразличие. – Да я уже и не работаю у того адвоката.

– Значит, где-нибудь в Манхэттене стоит, возможно, пустая квартирка, хозяин которой умер, и висит там втайне ото всех картина одного из самых знаменитых художников нашего века? Хозяин был человеком бедным и старым, по столу ползают тараканы, ботинки грызет крыса, на кровати храпит домушник, который взломал дверь и поселился в квартире, а в один прекрасный день трах-тарарах, начнется пальба, у девочки появится дырка во лбу, а ящерица лишится своего хвоста. Может, старым хозяином был сам Рене Дальман? – Она оказалась довольно разговорчивой. Но он охотно слушал ее. – Ты готов взять на себя такую ответственность?

– За что?

– За непроясненность.

– Кто хочет ясности, пусть обратится в «Сотби» и «Кристи» или к тем, кто пишет книги о Рене Дальмане.

Она прижалась к нему.

– А ты кое-чему научился. Ведь научился?

Он не решался заснуть. Боялся, что начнет разговаривать во сне. Ему не хотелось, чтобы, проснувшись, она начала бы шарить в поисках шлепанцев под кроватью, перед тем как пойти в туалет, под кроватью она могла наткнуться на картину... Но потом он все-таки заснул, а когда проснулся, было уже светло; вернувшись из туалета, она так бросилась на кровать, что он испугался. Но сетка с матрасом не провалились.

– Мне нужно успеть на поезд в 7.44, чтобы быть к девяти в институте.

– Я тебя провожу.

Прежде чем закрыть дверь и запереть ее, он, обернувшись, осмотрел комнату. Комната ему не понравилась. Она выглядела чужой. Библиотекарша рылась в его книгах, у нее были месячные, и она испачкала простыни, во время прогулки по берегу моря она нашла ржавые почтовые весы для писем и притащила их с собой. А главное, над кроватью не было девочки с ящеркой. Уже провожая библиотекаршу на вокзал и прощаясь с ней, он был немного рассеян и беспокоен, а вернувшись домой, сразу принялся за уборку. Книги обратно на полку, свежее постельное белье, картину на место, весы на шкаф за чемодан. «Ну вот, девочка с ящеркой, теперь опять все в порядке».

Он встал посреди приведенной в порядок комнаты, огляделся. Порядок на книжной полке напомнил ему о порядке, который царил на книжных полках отца. Скучная опрятность, как ее поддерживала мать в борьбе против запустения семейного очага. Девочка с ящеркой уже не в позолоченном багете, а в скромной деревянной рамке, занимала такое же доминирующее положение, как и раньше в доме у родителей. И, как тогда, картина была сокровищем, тайной, окном в мир красоты и свободы и одновременно некой господствующей, контролирующей инстанцией, требующей приношения жертв. Он подумал

о годах предстоящей жизни.

В этот день он уже ничего не делал. Прогулялся по улицам, мимо юридического факультета, мимо ресторанчика, где подрабатывал, мимо дома, где жила студентка, в которую когда-то он был влюблен. Впрочем, возможно, любить он так и не научился?

Вечером он зашел домой, завернул в стянутую с постели простыню картину в раме и пачку газет. Пошел со свертком на берег. Там горели костры, у которых сидела и веселилась молодежь. Он прошел дальше, оставив позади последние костры. Газеты и простыня быстро загорелись, сразу занялась и рама. Он бросил в огонь картину. Краски стали плавиться, потекли, контуры девочки расплылись. Но прежде чем полотно сгорело, оно вспыхнуло у края, и открылась другая картина, скрытая под первым полотном, где была изображена девочка с ящеркой. Огромная ящерица и крохотная девушка – он лишь на миг увидел ту картину, которую Рене Дальман хотел спасти и взять при бегстве с собой. Затем полотно ярко разгорелось.

Когда пламя опало, он носком ботинка собрал горящие остатки в кучку. Не стал ждать, пока все прогорит до пепла. Еще немного посмотрел на тлеющие синевато-красные язычки. Потом пошел домой.

## **Другой мужчина** **Перевод Б. Хлебникова**

### 1

Жена умерла через несколько месяцев после его ухода на пенсию. У нее была раковая опухоль, не подлежавшая ни операции, ни лечению, поэтому он ухаживал за женой дома. Когда она умерла и заботиться об ее кормлении, туалете, иссохшем и измученном пролежнями теле уже не приходилось, осталось позаботиться о похоронах, затем о счетах, страховках и о том, чтобы дети получили причитающееся им по завещанию. Пришлось отдать ее одежду в чистку, белье в прачечную, привести в порядок обувь, все упаковать по коробкам. Ее лучшая подруга, содержавшая магазин «second hand», обещала жене, что ее элегантный гардероб достанется красивым женщинам.

Хотя все это были дела для него необычные, он так привык заниматься чем-то по дому, когда из комнаты, где лежала жена, не доносилось ни звука, что у него до сих пор сохранялось чувство, будто, стоит только подняться по лестнице, открыть дверь ее комнаты, и можно подсесть к ее постели, чтобы перекинуться словечком, сообщить что-нибудь или спросить. Лишь позднее он до конца осознал, что она умерла, что подействовало, как неожиданный удар. Что-то похожее нередко происходило потом, когда он разговаривал по телефону. Он стоял, прислонившись к стене возле телефонного аппарата на кухне или в столовой, все было нормально, обычный разговор, и чувствовал себя вполне нормально, однако вдруг сознавал, что она умерла, не мог продолжать разговор, вешал трубку.

Но однажды дела закончились. Появилось такое чувство, будто канаты обрублены, балласт сброшен и ветер понес его гондолу над землей. Он ни с кем не виделся, ни в ком не нуждался. Дочь и сын приглашали его пожить некоторое время в их семьях, однако, хотя он и считал, что любит своих детей и внуков, тем не менее сама мысль о том, чтобы жить вместе с ними, казалась ему нестерпимой. Была нестерпима мысль о любой нормальной жизни, отличавшейся от того, что являлось нормальным прежде.

Спалось ему плохо, он рано вставал, пил чай, немножко играл на пианино, решал шахматные задачки, читал, делал заметки к статье, посвященной одной проблеме, с которой он столкнулся в последние годы работы и которая с тех пор оставалась темой его размышлений, хотя всерьез не занимала. Под вечер начинал пить. Садился с бокалом шампанского за пианино или за шахматную доску, откупоривал к ужину, состоявшему из

консервированного супа и пары ломтей хлеба, бутылку красного вина, которую в конце концов опустошал, продолжая делать заметки или читая книгу.

Он совершал прогулки по улицам, заходил в заснеженный лес, бродил по берегу реки, края которого иногда заледеневали. Порой это бывало даже ночью, тогда походка его оказывалась поначалу нетвердой, он пошатывался, задевал за ограды и стены домов, но затем голова прояснялась, а шаг делался уверенным. Он поехал бы к морю, чтобы часами бродить там по берегу. Но не решался оставить дом, эту оболочку собственной жизни.

## 2

Жена его была не слишком тщеславной. Во всяком случае, ему она слишком тщеславной не казалась. Красивой – да, он находил ее красивой и давал ей понять, что его радует ее красота. Она же давала ему понять, что радуется тому, что его это радует, – взглядом, жестом, улыбкой. Эти взгляды, жесты и улыбки, ее манера глядеться в зеркало были очень милы. Но не тщеславны.

И все-таки умерла она из-за собственного тщеславия. Когда врач, обнаружив узелок на правой груди, посоветовал операцию, то из-за опасения, что дело кончится ампутацией, она перестала к нему обращаться. При этом она никогда не кичилась своим высоким, роскошным, крепким бюстом, но и не жаловалась, когда в последние месяцы перед смертью исхудала, а груди обвисли, вроде вывернутых карманов, демонстрирующих пустоту. Она всегда производила впечатление человека с очень естественным отношением к собственному телу со всеми его достоинствами и изъянами. Лишь после ее смерти, услышав случайное замечание врача о несостоявшейся операции, он спросил себя, не было ли то, что представлялось ему естественным отношением к собственному телу, на самом деле затянувшейся изнеженностью, которая в конце концов сменилась отчаянием.

Он упрекал себя за то, что в ту пору, когда понадобилась операция, ничего не заметил и не расположил ее к тому, чтобы ей захотелось поделиться с ним своими тревогами, страхами, попытаться найти совместное решение. Ему не припомнилось ничего определенного о той поре, на которую приходилось обнаружение узелка и рекомендация прооперироваться. Понадобились некоторые усилия, он перебирал в памяти эпизод за эпизодом, но не смог припомнить ничего особенного. Отношения оставались привычно доверительными, по работе он не был чрезмерно загружен, не слишком долго отсутствовал из-за командировок, да и ее профессиональные дела шли обычным чередом. Она была скрипачкой городского оркестра, вторая скрипка, первый пульт, а кроме того, давала уроки музыки. Вспомнилось, что тогда после нескольких лет разговоров о том, что хорошо бы снова помуцицировать вместе, даже действительно стали играть сонату Корелли<sup>5</sup> «La folia».

Благодаря воспоминаниям поутихли упреки в собственный адрес, зато вместо них появилась досада по поводу их взаимоотношений, которые прежде казались ему такими доверительными. Неужели он обманывался? Неужели на самом деле этой доверительности не было? Тогда в чем причина? Разве им плохо жилось вместе? Ведь спали они до тех пор, пока недуг не приобрел тяжелую форму, а разговаривали до самой ее кончины.

Но улеглась и досада. Правда, нередко томило его чувство пустоты, хотя он и сам не понимал, чего ему, собственно, недостает. Он никогда не решился бы проверить себя, однако порой задавался вопросом, не хватает ли ему действительно жены или просто теплого тела в постели, кого-то, с кем можно поговорить, кому было бы интересно его мнение, и, наоборот, кого слушал бы он сам, пусть даже без особого интереса. Спрашивал он себя и о том, адресована ли тоска, которую он иногда испытывал по работе, именно его прежней работе или же любому социальному окружению, где он мог бы хорошо сыграть отведенную роль. Он знал, что стал медлителен, медлителен в восприятии и обдумывании, медлителен в

---

<sup>5</sup> Корелли Арканджело (1653–1713) – итальянский скрипач и композитор.

согласии и в отказе.

Иногда ему чудилось, будто он выпал из собственной жизни, падение еще продолжается, но вскоре дно будет достигнуто и тогда можно начать все заново, пусть совсем скромно, зато заново.

### 3

Однажды на имя жены пришло письмо от отправителя, который был ему незнаком. Почта до сих пор поступала к ней – проспекты, счета за журнальную подписку или членские взносы, пришло письмо от подруги, которую он упустил из виду, рассылая извещения о смерти, но про которую, получив письмо, сразу же вспомнил, извещение о смерти одного из прежних коллег жены, приглашение на вернисаж.

Письмо было кратким, написано авторучкой, беглым почерком.

*Дорогая Лиза,*

*Ты считаешь, что тогда я все слишком усложнил для Тебя, знаю. Только я не согласен с Тобой, до сих пор не согласен. И все-таки я виноват, хоть и не чувствовал тогда вины, но теперь чувствую. Ты тоже виновата. До чего безжалостно обоились мы с нашей любовью! Мы погубили ее, Ты своими страхами, а я своей требовательностью, вместо того, чтобы позволить ей расти и цвести.*

*Существует грех не рожденной жизни, не исполненной любви. А ты знаешь, что грех, совершенный вместе, повинных в нем связывает навек?*

*Несколько лет назад я вновь видел Тебя. Это было на гастролях оркестра в моем городе. Ты постарела. Я понял это по морщинкам, по усталости Твоего тела, мне вспомнился Твой голос, который делался пронзительным, когда Ты испытывала страх или защищалась. Ничего не помогло; если бы выдался случай, я снова бросился бы с Тобой в машину или в поезд, чтобы снова уехать и снова провести в постели с Тобой несколько дней и ночей напролет.*

*Тебе этого не понять? Но с кем же мне поделиться моими чувствами, если не с Тобой!*

**Рольф**

На обратном адресе значился большой южный город. Прочитав письмо, он достал карту этого города, отыскал указанную в обратном адресе улицу, увидел, что она соседствует с парком. Он представил себе автора письма сидящим за столом перед окном с видом на парк. Сам он видел верхушки деревьев на улице перед домом. Верхушки были еще голыми.

Он никогда не слышал, чтобы голос жены делался пронзительным. Никогда не проводил с ней в постели дни и ночи напролет. Никогда не бросался с ней в машину или в поезд, чтобы уехать куда глаза глядят. Поначалу он просто удивился, затем почувствовал себя обманутым, обворованным; жена обманывала его, утаивая что-то, что по праву принадлежало или хотя бы причиталось ему, а другой мужчина по-воровски присвоил это себе. Его обожгла ревность.

Это была ревность не к тому, что делила его жена с другим и что было ему самому не известно. Откуда ему знать, была ли она с ним такой, как с другим, или нет? Может, она была с Другим такой же, как с ним. На концерте они невольно брались с Лизой за руки, когда музыкальное произведение особенно нравилось обоим; утром, наводя макияж перед зеркалом, она могла на миг обернуться к нему, улыбнуться, чтобы потом опять сосредоточиться на своем отражении в зеркале; проснувшись, она сначала прижималась к нему и только потом отодвигалась, чтобы потянуться; порой, когда он рассказывал о каких-нибудь проблемах, возникших на работе, она слушала его вроде бы с отсутствующим видом, однако, спустя несколько часов или даже дней, обнаруживала неожиданной репликой

свое внимание к его делам и участие – в таких ситуациях проявлялась доверительность их отношений, та близость, которая существовала между ними. Разумеется, он считал, что подобная близость носит исключительный характер. Но теперь это уже не разумелось само собой. Разве она не могла быть столь же близкой с Другим? Разве не могла братья с ним за руки на концерте, обращаться к нему с улыбкой, сидя перед зеркалом и наводя макияж, прижиматься к нему, проснувшись утром в постели, перед тем как хорошенько потянуться?

#### 4

Наступила весна, по утрам его будил птичий щебет. Каждое утро одно и то же. Он просыпался счастливым, потому что слышал пение птиц, видел проникающие в комнату лучи солнца, и на какой-то миг казалось, будто в мире все в порядке. Но затем в сознании опять всплывали – смерть жены, письмо от Другого, их адюльтер и то, что жена была с тем другим совсем не такой, какой он ее знал, но в то же время именно такой. Адюльтер – так он решил называть про себя то, о чем узнал из письма; собственные сомнения относительно двойного повода для ревности превратились в уверенность. Иногда он задавался вопросом, что хуже – когда тот, кого любишь, становится другим с другим, или же когда он остается с ним таким же, каким ты его знаешь сам? А может, это плохо одинаково? Ведь в любом случае тебя обкрадывают – похищают то, что тебе принадлежит или должно принадлежать.

Это было похоже на болезнь. Проснувшись больному тоже необходимо какое-то время, чтобы вновь осознать, что он болен. И подобно тому, как проходит болезнь, так же проходят тоска и ревность. Зная это, он ждал, что пойдет на поправку.

Весной прогулки стали продолжительнее. У них появилась цель. Он не отправлялся уже просто куда глаза глядят, а шагал через поля к шлюзам или по лесу к замку над рекой, или же шел между цветущими фруктовыми деревьями, растущими на горных склонах, в соседний городок, где проводил какое-то время, а потом возвращался домой на поезде. Все чаще, достав под вечер привычную бутылку шампанского, он ставил ее обратно. Все чаще ловил себя на том, что размышляет о чем-то ином, нежели жена, ее смерть, другой мужчина и адюльтер.

Как-то в субботу он пошел в город. Последние месяцы, для этого не находилось повода. Поблизости от дома имелась булочная и продуктовая лавка, а в остальном он не нуждался. Подойдя к центру с его интенсивным уличным движением, людской толчеей, чередой магазинов, гомоном голосов, шумом транспорта, мелодиями уличных музыкантов и выкриками лоточников, он почувствовал страх. Его стесняла эта толпа, ее деловитая суета и многоголосие. Он заглянул в книжный магазин, но и тот был полон, люди толпились у книжных полок и касс. На минуту он задержался у дверей, не решаясь ни войти, ни выйти, загоразивая проход, его толкали, раздраженно извинялись. Ему хотелось домой, но не было сил вернуться на улицу, пойти пешком, сесть в трамвай или взять такси. Раньше казалось, что сил у него побольше. Когда выздоравливающий, переоценив свои возможности, делает что-то лишнее, то это грозит рецидивом; вот и ему придется теперь начать выздоровление заново.

Когда наконец он добрался до трамвая, то молодая женщина уступила ему в вагоне место. «Вам плохо? Уже в книжном магазине у вас был такой вид, что это вызывало беспокойство». Он не помнил, чтобы видел ее там. Поблагодарив, сел. Страх не отпускал. Придется начать выздоровление заново – значит ли это, что сейчас у него кризис? Пусть так, но пугало чувство, что кризис может усугубиться.

Днем он лег в постель, хотя было совсем рано. Сразу заснул, проспал несколько часов. Когда проснулся, было еще светло, страх исчез.

Подсев к письменному столу, он взял лист бумаги и написал без обращения, без даты.

*Ваше письмо дошло. Но оно не сумело попасть к адресату. Лиза, которую*

*Вы знали и любили, умерла.*

**Б.**

ББ – так довольно долго называли его жена и друзья, со временем осталось только Б. Просмотренные служебные бумаги он помечал инициалом Б. Затем привык подписывать так же свою личную переписку, тем более что дети прежде называли его папой, но благодаря особенностям диалекта это звучало как «баба». Ему нравилось, что Б способно исполнять столько ролей.

Он положил листок в конверт, надписал адрес, наклеил марку и бросил в уличный почтовый ящик в нескольких кварталах от дома.

## 5

Спустя три дня пришел ответ.

*Темновласка! Ты больше не хочешь быть прежней Лизой, которую я любил?  
Ей суждено для меня умереть?*

*Я хорошо понимаю Твое желание, чтобы прошлое умерло, особенно если оно такой болью откликается в настоящем. Но оно может откликаться в настоящем только потому, что продолжает жить. Наше общее прошлое остается живым для Тебя, как и для меня, – и это прекрасно! Прекрасно, что Ты, никогда не отвечавшая на мои письма, ответила мне. И что Ты осталась моей Темновлаской, хотя и обозначила это одной-единственной буквой.*

*Твое письмо сделало меня счастливым.*

**Рольф**

Темновласка? Да, у нее были темные, карие глаза и каштановые волосы, темные волоски на руках и ногах, которые выцветали летом, когда она покрывалась загаром, а еще у нее было множество темных родинок. Моя каштановая красавица, говорил он порой с восхищением. Темновласка – это было нечто иное. Краткое, властное, хозяйское. Так можно было бы назвать каурую кобылу, которой поглаживают ноздри и которую треплют по крупу, прежде чем вскочить в седло и пришпорить.

Он подошел к секретеру жены, антикварной вещице в стиле «бидермайер». Он знал, что там существует секретное отделение. Разбирая после смерти жены ее вещи, он постеснялся заглядывать туда. Теперь же он выдвинул все ящики, опустошил все отделения, нашел стенку, за которой должен был находиться тайник, а через некоторое время обнаружил и планку, нажав которую и повернув стойку вокруг оси, увидел дверцу. Она была заперта, пришлось взломать замок.

Пачка писем, перевязанная алой ленточкой; по почтовому штемпелю стало ясно, что эти письма относились к той поре ее девичьей любви, о которой жена ему рассказывала. Альбом со стихами и фотографиями, закрывающийся сафьяновыми ремешками и замочком. Еще одна пачка писем, перевязанная зеленой ленточкой; здесь он узнал почерк ее родителей. А вот и почерк Другого. Большая канцелярская скрепка объединяла четыре письма. Он взял их с собой, поближе к окну, уселся в высокое кресло, рядом со швейным столиком; всю эту мебель, выдержанную в стиле «бидермайер», как и секретер, они приобрели с Лизой незадолго до свадьбы. Усевшись, он принялся за чтение.

*Лиза,*

*все вышло иначе, нежели Ты представляла себе вначале, гораздо сложнее.  
Знаю, что иногда это вселяет в Тебя страх и Тебе хочется спастись бегством. Но*



*бежать не стоит. Да и нельзя. Ведь я остаюсь с Тобой, даже когда меня нет рядом.*

*Может, Ты сомневаешься в моей любви, поскольку я не могу облегчить Твоего положения? Но это не в моих силах. Да, я тоже хотел бы, чтобы все было проще, чтобы мы могли жить вместе, друг для друга. Хотел бы только этого. Но мир устроен иначе. И все же этот мир чудесен, ведь благодаря ему мы сумели найти и полюбить друг друга.*

*Лиза, я не могу с Тобой расстаться.*

**Рольф**

*Нет, Лиза, нет. Это уже было с нами год назад и полгода назад, и Ты знаешь, что я не могу без Тебя. Не могу. И Ты не можешь без меня. Без моей любви, без страсти, которой я заражаю Тебя. Если Ты бросишь меня, то я не просто паду в бездонную пропасть, я увлеку за собой и Тебя. Не дай этому случиться. Останься моей, как я остаюсь Твоим.*

**Твой Рольф**

*Ты не пришла. Я ждал Тебя, тянулись часы, но Ты не пришла. Она просто задерживается, пытался я внушить себе поначалу, но потом забеспокоился, стал названивать по телефону, пока не узнал от Твоей домработницы, что Ты не можешь подойти к телефону. От домработницы! Ты не просто не пришла. Ты отвергла меня через свою домработницу.*

*Я ужасно зол, прости. Я не имею права злиться на Тебя. Все это слишком обременяло Тебя, так не могло продолжаться, необходимо было что-то изменить, и Ты не пришла лишь потому, что хотела дать мне понять это.*

*И я, кажется, понял.*

*Я все понял, Лиза. Давай забудем все, что стало бременем для нас. На следующей неделе Ты выступаешь с оркестром в Киле – прихвати денек-другой, они будут принадлежать только нам. И дай знать о себе.*

**Рольф**

*О, домработница, домработница! Она приходит теперь ежедневно? Во всяком случае, именно она снимает трубку, когда я звоню. Или же Твой муж. Скоро он начнет задаваться вопросом о том, кто это звонит вечерами и молчит в трубку. Ах, Лиза. В этих моих бесполезных звонках есть что-то до гротеска смешное. Надо покончить с этим гротеском, а над забавным посмеяться вместе, посмеяться в постели, обнимаясь друг с другом, смеяться и обниматься снова...*

*Я буду здесь через неделю. Буду ждать Тебя не только в наш обычный день и обычное время, но каждый день и каждую ночь, буду ждать Тебя ежечасно.*

**Рольф**

Ни одно из писем не имело даты. Дата на проштемпелеванном конверте была двенадцатилетней, на трех других конвертах – одиннадцатилетней давности с промежутком в несколько дней.

Что последовало за четвертым письмом? Поддалась ли Лиза на уговоры? Смирился ли Другой со своим поражением? Смирился и перестал слать письма?

Он хорошо помнил тот период, к которому относились письма. Одиннадцать лет назад состоялись выборы в бундестаг и, хотя парламентское большинство и правительственная коалиция сохранились, в кабинете министров произошли перемены. Новый министр заменил его, беспартийного, на чиновника, бывшего членом партии. Пришлось уйти во временную отставку. Правда, через год он получил назначение в один из государственных фондов, причем работа там оказалась вполне интересной. Но той власти, которую он несколько лет имел в министерстве, власти, которая ему нравилась, у него уже не было.

Да, последние годы службы в министерстве выдались весьма напряженными, приходилось много разъезжать по командировкам, работать по выходным, причем не только в министерстве, но и дома. Вместе с тем ему тогда казалось, что с семьей у него все в порядке, контакты с женой и детьми, пусть и несколько редкие, вроде бы убеждали его в этом. Так ли обстояло дело действительно? Теперь ему представлялось, что тогда он не просто обманывался, но уже догадывался о собственном самообмане. Ему вспомнились ситуации, когда Лиза реагировала на него с отсутствующим видом или даже отвергала его. «Что произошло?» – спрашивал он. «Ничего особенного», – отвечала она. «Но я же вижу». – «Нет, все в порядке. Просто я немного устала». Или: «У меня месячные». Или: «Просто я задумалась об оркестре». Или: «Задумалась о своем ученике». Поэтому он прекращал расспросы.

А что было потом, после четвертого письма, когда он покинул министерство? К своему стыду, он отметил, что за год временной отставки у него сохранилось мало воспоминаний о жене и семье. Он переживал несправедливость, обиду, зализывал раны, ожидал, что весь мир, государство, министр, друзья, жена, дети попытаются восстановить справедливость. Он был слишком занят собой, чтобы обращать внимание на то, как обстоят дела у жены. Вспоминалось, как раздражала его тогда шумливость детей или друзей. Их веселье казалось ему пренебрежением к его потребности в покое и ничем другим.

В воспоминаниях не обнаружилось никаких свидетельств, которые могли бы ответить на вопрос, продолжались ли отношения Лизы с Другим после четвертого письма. В тот трудный год Лиза старалась иногда быть к нему поближе, но он отталкивал ее, хотя и отталкивал, как ребенок, который делает это из желания, чтобы его любили еще сильнее. Сейчас это помнилось, но забылось, что еще происходило между ними в тот год. Вероятно, ее занимал оркестр и она маловато бывала дома, иначе он, постоянно сидя дома, это заметил бы. Впрочем, что он вообще замечал тогда!

Он написал письмо.

*Твои теперешние письма похожи на прежние. Они преследуют меня. Ты преследуешь меня. Если это не прекратится, то есть если Ты этого не прекратишь, то никогда больше не услышишь обо мне. Не повторяй ошибок.*

**T.**

Ему было не по себе. Но он считал, что это не так важно. Ему было бы не по себе, даже если бы он не написал подобного письма. Или сочинил другое. Ведь Лиза порвала с другим. Если это так, было бы лучше оставить прошлое в покое. Если, конечно, увлечение было непродолжительным. И если оно было не сильным.

7

*Лиза, Темновласка моя,  
будь справедлива. Ведь я пребывал тогда в отчаянии. Жизнь моя оказалась  
растраченной понапрасну, я боролся за нее, а тут еще Ты выкинула меня из своей  
жизни, как выкидывают из дома на улицу бродячую собаку и закрывают перед ней*

окна и двери. Я не знал, что делать. Я не хотел преследовать Тебя. Хотел лишь достучаться, увидеться с Тобой, поговорить. Я не помню уже содержания моих писем. Могу себе представить, что в настойчивости, которая показалась Тебе преследованием, отразилось мое отчаяние, мой страх потерять Тебя. Когда мне удалось наконец дозвониться до Тебя и мы встретились на углу улицы, под дождем, когда Ты сказала мне, что между нами все кончено, навсегда, и что Ты не можешь, не хочешь больше видеть меня, разве я не оставил Тебя тогда в покое?

А может быть, на самом деле Ты имела в виду не конец наших отношений, а их новое начало? Когда Ты бросилась от меня, а я побежал за Тобой, прижал Тебя к церковной стене, преградил тебе путь руками, но не сумел сказать Тебе то, что должен был сказать. Я ведь не прикоснулся тогда к Тебе, пока Ты сама не обняла меня. Точно так же Ты обняла меня в нашу первую ночь, неужели не помнишь? Было холодно, очень холодно, Ты не хотела вылезать из-под одеяла, поэтому я склонился к Тебе, выключил ночничок, а Ты выпростала руки из-под одеяла и взяла меня к себе.

Знаю, много раз Ты спрашивала себя и меня, не была ли наша первая встреча хитроумно подстроенной, не заманил ли я Тебя в силки. Ни тогда, ни сегодня мне не хотелось бы считать нашу встречу случайной. Она была даром небес.

У Тебя сохранились фотографии? По крайней мере, у Тебя было несколько первых снимков. Их сделал Твой коллега, и одна из фотографий стоит сейчас передо мной: ресторан в Милане, шумные музыканты, сгрудившиеся вокруг большого стола, я оказался рядом с Тобой после того, как ваш гобоист, нарушив мое одиночество, вытащил меня из-за столика и пригласил в вашу веселую компанию. Следующие фотографии были сняты на озере Комо, у меня сохранились негативы. Мы попросили щелкнуть нас мальчика, торговавшего фруктами с лотка, мы смотрим в объектив, смущенные и влюбленные, счастливые и решительные. А еще есть фотография большого, старинного и белоснежного отеля, где состоялась наша первая ночь; в горах еще лежит снег, ты стоишь возле нашей взятой напрокат машины, на голове платок, повязанный, как это делала в пятидесятые годы Катарина Валенте. На одном снимке Ты запечатлела меня, я этого даже не заметил; уже в пальто, готовый к отъезду, я стою на балконе, глядя на пустынную озерную гладь, где нет ни парохода, ни лодок, потому что еще совсем холодно. Есть и Твоя фотография, где Ты снята на рассвете; к ней Ты подарила мне серебряную рамку.

Если у Тебя возникло такое чувство, будто я Тебя преследую или преследовал раньше, то мне очень жаль. Мне казалось, что мы оба страдали под гнетом обстоятельств, оба были не так свободны друг для друга, как нам того хотелось бы. Мы были заперты в клетке, каждый по-своему, хотя, возможно, Твой конфликт был для Тебя тяжелее, чем мой для меня. Но и мне было нелегко, а самым тяжелым было то, что мне постоянно приходилось просить Тебя о помощи.

Не решаюсь просить Тебя о встрече. Но знай, что я этого очень желаю.

**Рольф**

Он достал альбом, оставленный ранее в тайнике, разрезал сафьяновые ремешки, открыл первую страницу. Альбом тоже начинался с фотографий, сделанных в миланском ресторане: компания за столом, ослепленные вспышкой глаза, широкие от воздействия алкоголя жесты, пустые тарелки и блюда. Пустые и полные графины, бутылки, бокалы. Некоторых из коллег Лизы он узнал сразу. Они окружали мужчину, которого он до сих пор не видел. Он улыбался на каждом снимке, улыбался соседям, Лизе, фотообъективу, в левой руке поднятый бокал, правая на плече у Лизы. Затем последовали фотографии озера Комо: Лиза с Другим возле фруктового лотка, Лиза в автомобиле у подъезда отеля, построенного в стиле начала века, Лиза под пальмой на берегу озера, Лиза за столиком кафе, на котором стоят чашка кофе и стакан воды, Лиза с черной кошкой на руках. Нашелся и снимок Другого на балконе с видом

на озеро. И снимок Лизы в постели. Она лежала на боку, руки и ноги закутаны одеялом, заспанное и довольное лицо смотрит в объектив.

Обнаружилось еще множество фотографий. Некоторые из домов, улиц, площадей были ему знакомы, поскольку находились в его городе, так же, как замок и церковь. Ни на одной из дальнейших фотографий не было и намека на очередное путешествие. Последняя фотография запечатлела Другого шагающим по траве в плавках и с полотенцем; выглядел он хорошо – прекрасная осанка, пружинистая походка, мягкая улыбка.

## 8

Он присмотрелся к себе в зеркале. Седые волосы на груди, старческие пятна и бородавки по телу, на бедрах жировые складки, тонкие руки и ноги. Волосы на голове поредели, на лбу, между бровями, под крыльями носа и возле уголков рта залегли глубокие морщины, узкие губы, дряблая кожа под подбородком. Он не нашел в своем лице следов боли, скорби или гнева, только досаду.

Досада разъедала его, обращала в прах всю прежнюю жизнь. Все, что было важным для него в браке – любовь, доверительность, привычность, житейский ум Лизы, ее заботливость, ее тело, ее роль как матери его детей, – было столь же важно для остальной жизни, помимо брака. Это было важным даже для его фантазий относительно другой жизни или других женщин.

Накинув халат, он позвонил дочери. Можно ли приехать завтра? Ненадолго, всего на несколько дней. Нет, он вполне справляется с одиночеством. Просто нужно переговорить.

Она сказала, что ждет. Но в ее голосе чувствовалась какая-то нерешительность.

Утром, перед отъездом он написал ответ. Не найдясь по-прежнему, как обратиться к Другому, он начал просто с текста.

*Ты слишком заблуждаешься. Да, ситуации у нас были разными – они и не могли быть общими. И почему именно Тебе было так трудно просить меня о помощи? Ведь ее оказывала я. Разве трудно было не мне?*

*Что же касается приукрашивания, то этим ты отличался прежде, этим занимаешься и теперь. Да, фотографии у меня сохранились. Но когда я разглядываю их, они не пробуждают во мне счастливых воспоминаний. Слишком много было лжи.*

*Ты хочешь видеть меня. Но до возможной встречи еще далеко, если она вообще состоится.*

**T.**

Он уже несколько месяцев не пользовался своей машиной. Пришлось пригласить человека из мастерской, чтобы тот помог запустить двигатель. Он слегка отвык от вождения, но это не доставляло особенных неприятностей. Включив радио, он приоткрыл люк на крыше, впустил свежий весенний ветерок.

Последний раз он ехал этой дорогой вместе с женой. Она была уже очень больна, исхудала до невесомости; он спустился, неся ее, закутанную в одеяло, на руках, по лестнице, пронес по улице до машины. Ему нравилось укутывать ее, брать на руки, нести. Перед выездом он вымыл ее, причесал, чуточку надушил туалетной водой, от макияжа она отказалась. Он нес ее, чувствуя легкий запах туалетной воды, она же вздыхала и улыбалась.

Это воспоминание оставалось ничем не омраченным. Он вообще заметил, что новые обстоятельства никак не коснулись воспоминаний последних лет, лет ее болезни и смерти. Будто существовала одна Лиза, любви которой он искал и с которой он основал семью, прожил жизнь, и другая, которая медленно угасала и угасла. Будто болезнь и смерть выжгли все то, за что могла зацепиться ревность.

Дорога вела через поля и леса, мимо маленьких населенных пунктов с их образцовым порядком, свежей побелкой стен, аккуратной кирпичной кладкой, да и природа в палисадниках и садах казалась приведенной в такой же образцовый порядок с его светлой зеленью кустов и деревьев, с пестротой цветов. Улицы пустовали, дети сидели в школе, взрослые находились на работе. Иногда в промежутках между населенными пунктами попадалась встречная машина, трактор или грузовик. Он любил этот холмистый край между горами и равниной. Это была часть его и Лизиной родины, которой она хранила верность, даже когда началась его министерская карьера, приведшая их в столицу. Они не отказались от здешнего дома, дети продолжали ходить в местную школу, он метался между двумя домами, иногда приезжал на одну ночь, иногда жил несколько дней подряд, иногда целую неделю. Дети тоже были привязаны к этому краю. Если потом они и переезжали куда-то, то недалеко. До дочери можно было добраться за час, до сына – за два, а если ехать побыстрее, да еще по скоростной магистрали, то время поездки можно было сократить едва ли не вдвое. Впрочем, сейчас он не спешил.

Он попробовал настроиться на предстоящий разговор с дочерью. Что следовало рассказать ей о Лизе, о себе, о Другом? Как спросить, не разговаривала ли Лиза о нем и о Другом? По его мнению, Лиза была очень близка с дочерью, но уверенности не было. Помнилось, что Лиза и дочь любили держаться за руки, помнилось, что дочь, приходя домой, сначала звала мать, и что Лиза, уезжая с ним в отпуск, часами разговаривала с дочерью по телефону. Только все эти воспоминания относились к тому времени, когда дочь была еще подростком.

## 9

– О чем ты хотел поговорить со мной?

Дочь задала вопрос, застилая ему на ночь кушетку в гостиной. Он вызвался ей помочь, но она отказалась, поэтому он стоял рядом, сунув руки в карманы. Вопрос прозвучал холодно.

– Поговорим завтра.

Расправив одеяло, она выпрямилась.

– С тех пор, как мама умерла, мы пытались пригласить тебя к нам; мне казалось, что нам обоим станет полегче, если мы будем ближе, потому что... Ты потерял жену, я потеряла мать, к тому же Георг и дети обрадовались бы твоему приезду. На приглашения ты не откликнулся, чем очень меня огорчил. А теперь приезжаешь, хочешь говорить. Все как раньше, когда ты месяцами забывал про нас, потом вдруг в воскресенье решал отправиться с нами на утреннюю прогулку, затевал разговор. Нам ничего путного не приходило в голову, ты раздражался, поэтому лучше уж переговорить сейчас, чтобы дело было сделано.

– Неужели это было так скверно?

– Да.

Он уставился на собственные ботинки.

– Мне очень жаль. Я подолгу бывал очень занят, терял с вами контакт. Начинались угрызения совести, но я не знал, о чем с вами говорить. Отсюда даже не раздражение, а отчаяние.

– Отчаяние? – В голосе дочери послышалась ирония.

Он кивнул. «Именно отчаяние». Ему захотелось объяснить, как была устроена тогда его жизнь, как он чувствовал, что теряет доверие детей и мучился этим. Но взглянув на дочь, он увидел по ее лицу заведомое неприятие того, что он собирался сказать. Лицо было строгим, суровым. В нем еще угадывалась та веселая, добродушная, доверчивая девчушка, какой она была когда-то, но добраться до нее, докричаться было для него уже невозможно. Нельзя было и спросить, как жизнерадостная девчушка превратилась в суровую женщину. Оставалось задать вопросы, с которыми он приехал, даже если ответы вновь окажутся неприязненными.

– Ты когда-нибудь разговаривала с твоей матерью о нашем браке?  
– Твоей матерью... Разве нельзя сказать просто «матерью» или «Лизой», как говорят другие мужья? Ты так подчеркиваешь, что она была моей матерью, словно... словно...  
– Разве твоя... разве мать не говорила, что не любит, когда я ее так называю?  
– Нет, она вообще никогда не говорила, что не любит чего-нибудь из того, что ты делаешь.  
– Помнишь, что происходило одиннадцать лет назад? Ты сдавала тогда экзамены на аттестат зрелости, и летом...  
– Можешь не рассказывать мне, что я тогда делала, сама знаю. Тем летом мать повезла меня на неделю в Венецию, чтобы отметить сдачу экзаменов. А в чем дело?  
– Она говорила что-нибудь обо мне во время той поездки? О нашем браке? Или, может, о другом мужчине?  
– Нет, не говорила. А тебе должно быть стыдно задавать о ней такие вопросы. Стыдно. – Она вышла из гостиной, тут же вернулась с двумя полотенцами. – Возьми. Можешь идти в ванную. Разбужу в семь, завтрак в половине восьмого. Спокойной ночи.  
Он хотел обнять ее, но она шагнула назад, махнула ему рукой и быстро вышла из гостиной. Или, может, не махнула, а отмахнулась?  
В ванную он не пошел. Ему стало страшно, появилось ощущение, будто для того, чтобы пройти по коридору, нужно больше мужества, чем сейчас у него имелось. Вдруг ошибется дверью, окажется в комнате дочери или ее мужа? Или в детской? Или выйдет на лестницу, а дверь в квартиру захлопнется? Придется звонить, выслушивать укоры, извиняться. К сыну он решил не ездить. Решил не навещать и лучшую подругу Лизы, которую собирался расспросить о Рольфе.

## 10

Утром он уехал, дом к этому времени опустел, дочь с мужем ушли на работу, дети отправились в школу. Он попрощался с ними запиской.

Поезд шел четыре часа. Город, в который он прибыл, был ему незнаком, но он отыскал нужную улицу и дом возле парка, в соседнем отеле снял номер. Развесив в шкафу одежду, отправился на прогулку. Улочка, на которой находился отель, пересекала проспект с широкими тротуарами и упиралась в небольшую площадь. Там нашлась скамейка, с которой можно было наблюдать за домом, где жил Другой. Собственно, это была поделенная на квартиры вилла в духе «Югендстиля», задняя сторона которой, как и у других соседних домов, выходила к ручью и парку.

Отправляясь в следующие дни на прогулку, он доходил до скамейки, которая всегда пустовала. Теплая погода располагала к тому, чтобы посидеть на этой скамейке, но до парка было рукой подать, там тоже стояли скамейки, и на них отдохнуть было приятней. Он задерживался ровно настолько, чтобы прочитать газету, вставал не раньше и не позже, после чего шел мимо дома, где жил Другой, пересекал ручей, уходил в парк. Каждый раз прогулка по одному и тому же маршруту совершалась немного позднее. Он строил планы. Как выследить Другого, как разведать его склонности и привычки, завоевать его доверие, нащупать слабое место. А уж тогда – он еще не придумал, как поступит тогда. Каким-нибудь образом он устранил Другого из своей жизни и из жизни Лизы.

Во вторник следующей недели около полудня он как раз сидел на скамейке, когда Другой вышел из дома. Костюм с жилетом, галстук, и в тон ему платок из нагрудного кармана. Пижон! Он выглядел сейчас более крупным, чем на фотографиях, был импозантен, шагал упруго. Дойдя до площади, он повернул на улочку, миновал перекресток, двинулся по проспекту. Через пару сотен метров он сел за столик уличного кафе с террасой. Не дожидаясь заказа, кельнер принес ему кофе, два круассана и шахматы. Достав из кармана книжку, Другой расставил фигуры и начал разыгрывать партию.

Когда Другой пришел сюда же на следующий день, он уже сидел за столиком с

шахматной доской, на которой стояла партия Кереса против Эйве.

– Индийская? – Задержавшись у столика, Другой взглянул на доску.

– Да. – Белая ладья взяла черную пешку.

– Черным надо жертвовать ферзя.

– Керес тоже так решил. – Он взял белую ладью черным ферзем, который в свою очередь был взят белым. Поднялся с места: – Разрешите представиться – Риманн.

– Файль. – Они обменялись рукопожатием.

– Не хотите ли присесть?

Они выпили по чашке кофе с круассанами, после чего стоявшая партия была доиграна до конца. Потом они сыграли партию друг с другом.

– Бог мой, уже три часа. Мне пора. – Другой поспешно откланялся. – Увидимся завтра?

– С удовольствием. Я задержусь в городе на некоторое время.

Они договорились встретиться завтра, затем состоялся уговор встретиться на следующий день, позднее уговариваться уже не потребовалось. Они просто встречались к позднему завтраку, в половине первого, и играли в шахматы, после чего беседовали. Иногда прогуливались по парку.

– Нет, я никогда не был женат. Я вообще не создан для брака. Я создан для женщин, а они для меня. Что же касается брака, то порой случалось пускаться в бега, когда дело принимало серьезный оборот. Впрочем, шустрости мне всегда хватало. – Он хохотнул.

– Вам ни разу не встретила женщина, с которой захотелось бы остаться?

– Скорее, встречались женщины, которым хотелось остаться со мной. Но хорошего понемножку. Вы же помните, как говаривал Зепп Гербергер: «Послематчевый период есть всегда период предматчевый».

Беседовали они и о своих профессиональных занятиях.

– Видите ли, я годами занимался ответственными делами на международной арене. Сегодня Нью-Йорк, завтра Гонконг. А такая работа совсем не похожа на каждодневную рутину в одной и той же конторе.

– Что же вы, собственно, делали?

– Назовем это troubleshooting. Иначе говоря, мне приходилось исправлять чужие оплошности. Допустим, нужно вернуть немецкому послу его супругу, которую умыкнули террористы, аналогичный случай происходит с дочерью одного из представителей концерна «Маннесманн». Некий похититель предлагает Национальной галерее выкупить украденную картину, ПДС хранит деньги СЕПГ у мафии. Вы понимаете, о чем идет речь?

– То есть вы берете на себя посредничество с террористами, ворами и мафией?

– Кому-то надо это делать, разве не так? – Лицо Другого приобрело многозначительное, но вместе с тем скромное выражение.

Иногда они беседовали о собственных хобби.

– Долгое время просто не представлял свою жизнь без поло. В гольф играете? Нет? Так вот – поло соотносится с гольфом так же, как скачки с бегом трусцой.

– Неужели?

– Вы конным спортом вообще не увлекаетесь? Тогда даже не знаю, как вам объяснить. Поло – это самая быстрая, мужественная и рыцарская игра. К сожалению, после сильного падения пришлось отказаться от этого пристрастия.

Заходил разговор и о собаках.

– Вот как, у вас была собака? Что за порода?

– Помесь. Немножко от овчарки, немножко от ротвейлера, немножко еще чего-то. Он достался нам двухлеткой. Молодой пес, затурканный, забитый, страдающий депрессией. Таким по натуре и остался. Зато с нами был прямо-таки счастлив. Был готов ради нашей семьи на все, если, разумеется, не залезал от страха под кресло.

– Типичный неудачник. Терпеть не могу неудачников. Вот я долго держал добермана. Чемпион, не сосчитать призов. Фантастическая псина.

Фанфарон, подумал он. Фанфарон и пижон. Что Лиза в нем нашла?

Он позвонил женщине, которая приходила убирать квартиру, и попросил ее переслать поступившую корреспонденцию в отель.

*Нет, моя Темновласка, для Тебя нет ничего плохого в том, что мне оказывалась помощь. Ведь мы верили в мой успех. Кроме того, Тебе нравилось быть нужной мне. Плохо было мне, ибо я не мог справиться с собственными проблемами самостоятельно.*

*Это послужило мне уроком. С тех пор жизнь моя переменилась. И неправда, что я пытаюсь все приукрасить. Просто я вижу красоту там, где другие ее не замечают. Я ведь и Тебе открывал красоту там, где Ты ее не замечала, и делал Тебя счастливой.*

*Позволь вновь открывать Тебе глаза, позволь вновь сделать Тебя счастливой!*

**Рольф**

Опасаясь выдать себя, он не сказал Другому, откуда приехал. Это была излишняя предосторожность, к тому же она лишала возможности затрагивать в беседе с Другим темы и предметы, которые могли бы сыграть роль наживки, чтобы подловить Другого на один из крючков. В конце концов пришлось назвать собственный город так, будто он жил там некоторое время.

– У меня когда-то тоже имелось там пристанище. Знаете, дома у реки, между новым мостом и самым новым. Забыл, как он называется.

– Да, мы тоже жили в этом районе, только за школой, у поля. – Он назвал собственную улицу, ту, где действительно жил.

Другой наморщил лоб.

– А соседей припоминаете?

– Некоторых припоминаю.

– Помните женщину, которая жила в доме номер 38?

– Темные, каштановые волосы, карие глаза, скрипачка, двое детей, муж – чиновник?

Вы ее имеете в виду? Вы знали ее?

Другой качнул головой:

– Надо же, какое совпадение. Конечно, мы были знакомы. Я хочу сказать... – Он взглянул на свои руки. – Весьма добропорядочная дама.

Моя жена, добропорядочная дама. Хотя сказано это было вполне почтительным тоном, но прозвучало как-то снисходительно, даже высокомерно. Он почувствовал раздражение.

Он досадовал и тогда, когда проигрывал Другому в шахматы. Это, впрочем, случалось редко, поскольку тот играл рассеянно, заглядываясь на улицу, на проходящих женщин, на собаку, лежавшую возле соседнего столика, увлекался разговором, расхваливал собственные ходы, а когда видел их неудачность, то с обиженным видом брал их обратно; свои поражения он объяснял крайне многословно, приводя разнообразные аргументы в пользу того, что, вообще-то, должен был непременно выиграть. А выигрывая, радовался, будто ребенок. Подчеркивал тонкость своего размена ладьи на коня или хитроумную жертву пешки, расписывал стратегический замысел ослабления ферзевого фланга ради укрепления позиции в центре – воспроизводился весь ход игры и отдельные эпизоды в качестве доказательства собственного мастерства и превосходства.

Дней через десять Другой попросил в долг. Нельзя ли расплатиться за него? Дескать, портмоне по забывчивости осталось дома. На следующее утро просьба повторилась. Оказывается, деньги остались не дома, а в кармане брюк, которые отданы в химчистку и



будут получены лишь к выходным. Поэтому приходится просить сравнительно крупную сумму, ведь надо дотянуть до конца недели. Четыреста марок будет, пожалуй, многовато, а вот как насчет трехсот?

Деньги он дал, но ощутил досаду. Причиной были и выражение лица, с которым высказывалась просьба, и мина, с которой принимались деньги. Словно, принимая деньги, Другой делал ему одолжение.

Он досадовал на себя, ибо не знал, как поступить дальше. Продолжать шахматные партии, совместные прогулки, выдачу денег в долг, выслушивание хвастливых историй, среди которых однажды появится история о романе с его женой? Надо сделать решительный шаг навстречу событиям.

Он написал своей домработнице, приложил письмо Другому, попросил ее отправить письмо по указанному адресу.

*Да, пожалуй, нам следует снова встретиться. Через две-три недели я заеду в Твой город, и мы могли бы увидеться. Покажи, как переменялась Твоя жизнь. Покажи Твою работу, Твоих друзей и, если таковая появилась в Твоей жизни, близкую тебе женщину. Тогда можно было бы, вероятно, продолжить наши отношения с того момента, где они оборвались. Тогда, возможно, найдется место в Твоей жизни для меня и в моей для Тебя. Именно в жизни, а не на ее обочине.*

**T.**

Он навестил Другого. Позвонил прямо в дверь, без приглашения, без предупреждения. Табличка из полированной латуни с фамилиями жильцов, звонки и переговорное устройство, дизайн, гармонирующий с опрятным фасадом дома и парадным в духе «югендстиль», фамилия Другого значилась на табличке последней. Дверь парадной была открыта, он вошел и, не найдя фамилии Другого на дверных табличках обеих квартир в партере, спустился на несколько ступенек вниз по лестнице, которая была из мрамора, как и пол просторной парадной, и перила которой на марше, ведущем к верхним этажам, были из резного дуба. Ступеньки спускались в подвал, справа появилась железная дверь с надписью «подвал». Но слева обнаружилась квартира, на входной двери имелась табличка с фамилией Другого. Он позвонил.

– Госпожа Вальтер? – откликнулся Другой. – Сейчас открою!

Спустя минуту Другой отворил дверь и возник на пороге в обвисших спортивных брюках и несвежей нижней рубашке. За его спиной виднелось выходящее в сад окно, расположенное на уровне земли, небубранная постель, на столе гора посуды, газеты и бутылки, возле шкафа стояли два стула, еще одна распахнутая дверь обнаруживала душ и унитаз.

– О! – удивился Другой и, отступив назад, почти закрыл входную дверь. – Вот это сюрприз.

– Я просто решил...

– Грандиозно, воистину грандиозно. Жаль, что я не могу принять вас должным образом. Здесь тесновато, а наверху я давно не следил за порядком. Я, знаете ли, два месяца назад переместился в подвал, чтобы присматривать за черепашками. Любите черепашек?

– Мне не доводилось...

– Никогда не доводилось иметь с ними дела? А ведь их толком не знают даже те, кто держит черепаху у себя дома. Как же можно любить то, чего не знаешь? Пойдемте со мной! – Они прошли через железную дверь в котельную. – Скоро можно будет их выпустить, но я говорю себе – лучше переосторожничать. Ведь в наших краях черепахи практически не производят на свет потомство. Когда старая черепаха стала копать осенью в кустах, я мог предположить что угодно, кроме кладки яиц. Три яйца я сохранил в котельной, из двух

вылупились маленькие черепашки.

Освещение котельной было тусклым. Глаза еще толком не привыкли к нему, а Другой уже взял его за руку, положил на ладонь крохотную черепашку. Он чувствовал, как та елозит, нежно царапает его ножками. Потом разглядел ее – в панцире, как у взрослых черепах, такая же складчатая кожа на шее, такое же медленное движение век, прикрывающих древние, мудрые глаза. В то же время черепашка была трогательно маленькой, а тронув ее пальцем правой руки, он почувствовал мягкость панциря.

Другой следил за ним. Он был довольно смешон в своих спортивных брюках, свисающих с толстого живота, руки худые и бледные, на лице написано неизменное ожидание похвал и восхищения.

Говорил ли он правду? Или просто купил черепашек? Но разве такие маленькие черепашки продаются? Неужели он обычно носит корсет, чтобы скрывать живот? Неужели он обитает в этом подвале лишь затем, чтобы хвастать приличным адресом и выходить по утрам из приличного дома в солидном костюме?

Крохотная черепашка на ладони растрогала его едва ли не до слез. Такая юная и уже такая древняя, столь беззащитная и уже столь мудрая. В то же время Другой вызвал у него чувство досады. Его неопрятный вид, запущенное жилье, его бахвальство, его жажда получить признание – и этого неудачника предпочла Лиза?

## 12

Спустя несколько дней Другой вытащил из кармана пиджака конверт, положил его на стол.

– Я получил важное известие. – Он погладил конверт. – Меня собирается навестить известная скрипачка – как вы понимаете, я не могу назвать ее имени. Мне хотелось бы устроить прием в ее честь. Вы еще задержитесь у нас? Позвольте пригласить вас на этот прием.

Впрочем, речь шла не столько о приглашении, сколько о просьбе оказать финансовую поддержку.

– Вы сможете прийти? Превосходно. Тогда нельзя ли попросить вас помочь мне в моих временных затруднениях? Я сейчас занимаюсь операциями с недвижимостью, которые затянулись дольше, чем мне бы хотелось. Отсюда некоторые проблемы с наличностью, из-за которых не должен пострадать уровень затеваемого приема, не так ли?

– На какую сумму вы рассчитываете?

Он взглянул на Другого – тот вновь выглядел довольно ухоженным в своей тройке, галстук гармонировал с платком в нагрудном кармане. Галстуки и платки часто менялись, костюмов имелось два, а пара черных штиблет с будапештским дырчатым узором была всегда одной и той же. Ему лишь сейчас пришло в голову, что на совместных прогулках по парку Другой всегда тянул на асфальтированные или посыпанные гравием дорожки, чтобы побереечь обувь. Он обмолвился насчет затянувшихся операций с недвижимостью – не значит ли это, что он живет в роскошной вилле в качестве консьержа? Деньги он решил Другому дать. Прием предоставит возможность увидеть друзей и знакомых Другого. Возможность разоблачить его перед друзьями и знакомыми.

– Вы знаете заведение под названием «Trattoria Vittorio Emanuele», что находится в двух кварталах, налево отсюда? Это лучший из итальянских ресторанов, в нем есть помещение, выходящее во внутренний дворик. Там можно устроить закрытый прием для званных гостей. С хозяином мы знакомы. Больше трех тысяч марок на ужин для двадцати персон он не потребует.

– Ужин? По-моему, вы хотели устроить прием.

– Он и будет устроен в таком виде. Так выручите с деньгами?

Он еще не успел кивнуть, а Другой уже принялся строить планы. Какие блюда будут подаваться. При хорошей погоде аперитив будет сервирован во дворике. Там же будут

произносятся приветственные речи. Рассказывал, кого намеревается пригласить.

Список приглашенных – об этом шла речь за каждым следующим завтраком. Постепенно из перечня возможных гостей, которых он перебирал и описывал, складывались черты, характеризующие его собственную жизнь. Он рассказывал о театре, которым когда-то владел, о людях, причастных к театру и кино, знаменитыми они не были или же перестали быть таковыми, но все-таки некоторые имена казались знакомыми. Упоминался бывший полицей-президент, бывший каноник, некий профессор, директор банка; каждому из них была некогда оказана услуга, поэтому все они с удовольствием откликнутся на приглашение. Какого рода услуга? Полицай-президент получил кое-какую полезную информацию о заложниках, профессор и директор банка не смогли сами вовремя заметить, что у их отпрысков есть проблемы с наркотиками, а канонику помогли уладить неприятности, связанные с нарушением celibата. Хотелось также пригласить первую и вторую доску шахматной команды, где сам он выступал на третьей доске. Среди людей, занимающихся недвижимостью, с которыми он сейчас имел дело, мало кто обладал должным форматом, тем не менее кое-кто мог бы попасть в список приглашенных.

– Что касается моих международных связей, то здесь, к сожалению, есть ограничения. В этих кругах конфиденциальность ценится превыше всего.

Перебрав в очередной раз одни и те же фамилии, Другой сказал:

– Да, и мой сын.

– У вас есть сын?

– Мы с ним почти не общаемся. Вы же, наверное, помните, как раньше обстояло дело с внебрачными детьми. Ты платил алименты, но посещать ребенка, проводить с ним каникулы не позволялось. Во всяком случае, мой сын знает, что я его отец. – Он покачал головой. – Правда, боюсь, что он несколько предвзято относится ко мне. Впрочем, именно поэтому было бы неплохо, чтобы он увидел меня в окружении моих знакомых, не так ли?

Через несколько дней эйфорического обсуждения планов у Другого начала проявляться робость. Он получил следующее письмо, где указывалась дата приезда. «Через две недели, в субботу. Ресторан свободен, но надо спешить с приглашениями. А вдруг никто не придет?»

– Почему бы не попросить в приглашениях дать ответ?

– Само собой. Однако ведь могут последовать не только подтверждения, но и отказы. Как бы лучше сформулировать... По случаю приезда скрипачки... имею честь пригласить Вас на ужин в Trattoria Vittorio Emanuele. Или так: По случаю пребывания альтистки... в нашем городе имею честь. Нет, лучше опустить ее имя и написать: «Давняя знакомая и знаменитая альтистка прибыла в наш город. Имею честь пригласить Вас на совместный ужин...» Нет, надо поменять местами: «Знаменитая альтистка и давняя знакомая...»

– Имя я бы опустил. Лапидарные приглашения выглядят эффектней.

Имя он опустил, но от знаменитой альтистки и давней знакомой не отказался. За две недели до срока приглашения были доставлены по адресам. Началось ожидание подтверждений и отказов.

Со смешанными чувствами наблюдал он за тем, как Другой занимался приготовлениями, томился надеждами и опасениями. Если целью была месть, то приглашения давали возможность свершить отмщение, хотя пока оставалось неясным, в какой форме это может произойти. Поэтому вместе с Другим он надеялся на подтверждения приглашений. Помогал ему советом и деньгами. Но одновременно он был не в силах желать Другому добра, пусть даже это будут подтверждения приглашений. Ведь Другой был пижоном, хвастуном, краснобаем и неудачником. Другой вторгся в его брак. По всей вероятности, он вторгался и в другие браки. Вероятно, и деньги брал не только у него, но обманывал и других.

Однажды вечером они отправились вдвоем в «Trattoria Vittorio Emanuele», чтобы проинспектировать помещение и меню. Pate tricolore, телятина с полентой и contorni, torta di ricotta, к ним вино pino grigorio и barbera. Кухня была отменной, но Другой все время беспокоился: Не было ли pate слишком жестким? Хватало ли розмарина в телятине? Стоило

ли брать contorni? Его беспокоило – соберутся ли гости, придет ли сын, удастся ли приветственная речь, он спрашивал, чем бы еще можно было достойно отметить приезд знаменитой альтистки и давнишней знакомой. Он доверительно сообщил, что речь идет о женщине, которая была ему некогда очень близка. Тут ему пришло в голову, что перед ним сидит прежний сосед этой женщины. «Мы уже говорили о ней, помните? Это весьма добропорядочная женщина, не поймите меня превратно».

### 13

Большинство приглашенных ответило отказом. Подтверждения пришли от нескольких знакомых из театра и кино, от каноника, от второй доски из шахматной команды и от сына. Вместо отказавшихся были приглашены другие. Но эти дополнительные приглашения представлялись Другому не слишком убедительными, многих он знал слишком поверхностно, либо полагал, что эти гости не произведут должного впечатления.

По мере нарастания сложностей, связанных с подготовкой банкета, который планировался в качестве выдающегося события, Другой все больше тушевался. «Видите ли, в последнее время я жил довольно замкнуто, не вращался в обществе. Сами знаете, как это бывает: то предпочитаешь отшельничество, то светскую суету. Я надеялся с помощью этого банкета вернуться в общество. Рад, что вы собираетесь прийти. Я ведь могу на вас положиться, правда?» Однажды, возвращаясь из туалета на террасу кафе и проходя мимо телефона, он услышал, как Другой говорил кому-то о своем старом приятеле, бывшем госсекретаре Министерства внутренних дел. Поинтересовался: «Что это за госсекретарь, с которым вы притягиваетесь?» – «Это вы. Разве вы не говорили, что работали в министерстве? А ведь я сразу вижу птицу по полету, даже если мне не сообщают подробностей».

Перед кем предстоит разоблачать Другого на банкете? Перед гостями, перед такими же неудачниками? Иногда он фантазировал, как скажет, что знаменитая альтистка приехать не сможет, о чем предупредила его, своего прежнего соседа, написавшего ей письмо в предвкушении встречи, ответным письмом. Дескать, она попросила его огласить свое письмо на банкете. Тут он выставит Другого на посмешище, не грубо и напрямик, а с показной деликатностью и любезностью. «Рада, что Твоим надеждам наконец-то удалось свершиться. Мне очень хотелось отпраздновать с Тобой и гостями Твой успех. Понимаешь ли Ты, что я горда не только Тобой, но и собой? Я верила в Тебя в ту пору, когда никто не верил, и помогла Тебе деньгами. А теперь Ты показал всему миру, чего Ты стоишь!»

Он был довольно уверен, чем именно Лиза помогла Другому – деньгами. Несложно было выяснить, что одиннадцать лет назад Другой довел свой театр до банкротства. Достаточно было переговорить с нынешним владельцем театра. Он не стал наводить справок в банке Лизы. Но от наследства, которое Лиза получила как только они поженились, после ее смерти почти ничего не осталось. Это озадачило его, когда он закрывал ее банковские счета, ибо, если бы она потратила эти деньги или отдала их детям, ему стало бы это известно. В первые годы совместной жизни эти деньги облегчили бы их положение, но они решили приберечь их на крайний случай. До крайнего случая дело не доходило, вскоре они стали зарабатывать больше, чем тратили. Так что повод для того, чтобы озадачиться, действительно имелся. Однако после ее смерти не было настроения выяснять, когда и куда исчезли пятьдесят тысяч марок.

Он так и не написал письмо, которое должно было разоблачить Другого. Он сочинял мысленно отдельные абзацы, но когда подсаживался к столу, то записать их как-то не хватало энергии. Сначала казалось, что еще остается много времени. Потом состав возможных гостей сделал проблематичной саму эту затею.

Но дело было не только в недостатке энергии. Слабели его ревность и досада. Да, он чувствовал себя обманутым и обокраденным. Но разве Лиза не расплатилась за это с лихвой? И разве она не принадлежала ему в последние годы в такой мере, о какой Другой даже

понятия не имел? О чем у него вообще имелось понятие? Просто Лизе было тогда тяжело, иначе у этого неудачника, фанфарона вообще не появилось бы ни малейшего шанса. Он был слишком жалок, чтобы давать повод для ревности и досады.

Он решил уехать. Вначале хотел навеститься к Другому в его подвал. Потом отложил разговор до следующего завтрака.

– Я сегодня уезжаю.

– И когда же вернетесь? Ведь осталось всего три дня.

– Я не вернусь. И деньги возвращать не надо. Устройте банкет для тех, кто придет. Только Лизы не будет.

– Лизы?

– Да, Лизы. Вашей Темновласки, моей жены. Она умерла прошлой осенью. Вы переписывались не с ней, а со мной.

Голова Другого поникла. Он убрал руки со стола, положил их на колени, его плечи опустились, голова поникла еще ниже. Подошедший разносчик газет молча протянул ему газету и так же молча убрал. Кельнер спросил: «Еще что-нибудь желаете?», но не получил ответа. К тротуару подъехал кабриолет, остановился в зоне, запрещенной для парковки; из него со смехом вышли две женщины и, смеясь, сели за ближайший столик. От столика к столику, обнюхивая их и ноги посетителей, бродил терьер.

– Отчего она скончалась?

– Рак.

– Она очень страдала?

– Она совсем исхудала, настолько, что я мог поднять ее одной рукой. Боли были не слишком сильными, даже в конце. Сейчас умеют с этим справляться.

Другой кивнул. Потом он поднял глаза:

– Вы прочли мое письмо?

– Да.

– И захотели выяснить, кем я был для Лизы? Кто я такой? Решили отомстить?

– Что-то вроде того.

– Ну как, выяснили? – Не получив ответа, Другой продолжил: – Мести не потребовалось, поскольку я и без того неудачник. Ведь так? Хвастун, который похвастается старыми временами, будто это был золотой век, а не банкротство и тюрьма. Что? Этого вы не знали? Зато теперь знаете.

– Как это случилось?

– Ваша жена оплатила мои долги и услуги адвоката, который вел второй процесс, но вступил в силу условный срок, результат первого процесса. Я пытался спасти мой театр.

– Но за это...

– ...в тюрьму не сажают? Сажают, особенно если ты ведешь себя так, будто все обстоит лучше, чем на самом деле, будто у тебя есть деньги, хотя их нет, будто необходимые контракты заключены, хотя нигде нет даже намека на заинтересованного партнера, будто имеются договоренности с актерами, которые не ведают об этом ни сном, ни духом. Да вы же все это знаете. Вы же сами написали, что я приукрашиваю действительность, не так ли? Да, приукрашиваю. Да, я вижу вещи более прекрасными, чем они есть. Это происходит потому, что я способен открывать красоту там, где для вас ее нет.

Другой выпрямился.

– Нет слов, чтобы выразить, как я скорблю о Лизе. – В глазах его появился вызов. – А вас мне не жаль. И вот в чем дело. Лиза осталась с вами, потому что любила вас, причем в плохие времена даже больше, чем в хорошие. Не спрашивайте меня, почему. Зато со мной она была счастлива. И я скажу вам, почему. Потому что я хвастун, красноречив, неудачник. Потому что мне не дано быть чудовищем вроде вас со всеми вашими угрюмыми достоинствами, высокой эффективностью, безупречностью. Потому что со мною мир становится прекрасней. Вы видите лишь то, что он вам являет, а я – его сокровенность. – Он встал. – Я должен был догадаться. В письмах звучала та же угрюмость, которая присуща вам.

Я просто приукрасил их для себя. – Он улыбнулся. – Прощайте.

## 14

Он вернулся домой. За дверью лежали письма, которые почтальон бросал в дверную прорезь, и извещения о пришедших в почтовое отделение бандеролях. С тех пор, как он попросил домработницу пересылать письма, она дома не появлялась. Она даже не выбросила мусор, вынесенный перед отъездом из кухни и оставленный в прихожей. Теперь вонь доносилась отсюда на лестницу. Любимые цветы Лизы, за которыми он ухаживал в память о ней, засохли, посерели, скукожились на потрескавшейся земле.

Он сразу же принялся за работу. Вынес мусор и цветы, убрал кухню, разморозил и вымыл холодильник, пропылесосил гостиную и спальню, сменил постельное белье, положил старое в стиральную машину. Он сходил на почту, забрал те бандероли, что еще не были отправлены обратно, сделал покупки в магазинах, заглянул в сад, чтобы прикинуть, чем придется заняться там в ближайшие дни и недели.

Под вечер он устал. Лишь к полуночи белье было постирано и развешено для сушки. Он чувствовал удовлетворение. Завершена неприятная глава. Порядок в доме наведен. Со следующего утра можно начать обычную жизнь.

Но утром он проснулся с тем же ощущением, которое бывало у него до поездки. Светило солнце, щебетали птицы, от окна веял ветерок, белье пахло свежестью. Поначалу он даже чувствовал себя счастливым, пока все не вспомнилось снова: письма, адюльтер, ревность, досада, злость. Нет, ничего не завершено. Ему нигде не удалось дойти до конца. До какой-то нижней точки, с которой можно было бы все начать сначала; он не мог ни вернуться к старой жизни, ни зажечь новой. Прежняя жизнь была жизнью с Лизой, даже после ее смерти, даже после того, как он узнал об ее адюльтере и испытал ревность. Сражаясь с Другим, он потерял Лизу. Она стала ему чужой, такой же чужой, как и Другой, всего лишь неким обстоятельством в расчетливых планах мести наряду с другими обстоятельствами, среди которых числились любовь, ревность, расследование дела и от которых он теперь устал. Она лежала с ним здесь, рядом, даже после ее смерти воспоминания оставались так живы, что иногда казалось, будто достаточно протянуть руку, чтобы коснуться ее. И вот теперь постель опустела.

Он принялся за работу в саду. Косил траву, подрезал кусты, копал, полел, купил и посадил новые растения, обнаружил, что у скамейки под березой нужно переложить плитки, а выходящую на улицу ограду следует покрасить заново. Провозившись в саду два дня, он увидел, что работы хватит еще на три, четыре, даже на пять дней. Однако уже на второй день стало ясно: орудуя лопатой, граблями или садовыми ножницами, можно привести в порядок клумбу, куст роз или саженцы самшита, но привести в порядок собственную жизнь этим не удастся.

Не верил он больше и в падение, которое будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто дно, после чего может начаться новый подъем. Ведь падения бывают и совсем другими. После таких падений можно разбиться, переломать руки и ноги, свернуть себе шею.

На третий день он бросил работу. Близился полдень; убрав кисти и краску, он повесил на незаконченную ограду табличку «Осторожно, окрашено!». Достал расписание, посмотрел на поезд до южного города. Следовало спешить. Банкет должен был начаться в семь вечера; Другой часто называл это время и указал его в последнем письме Лизе, которое обнаружилось в накопившейся почте.

Уже сидя в поезде, он размышлял, не стоит ли выйти на следующей станции и вернуться, а приехав в город, подумал, не лучше ли будет просто поехать в отель, чтобы провести здесь пару дней, наслаждаясь красотами юга. Однако водителю такси он дал адрес именно ресторана «Trattoria Vittorio Emanuele», вышел там и сразу прошел в банкетный зал. Двери зала были открыты во внутренний дворик, где парами или тройками стояли гости с

бокалами и маленькими тарелочками, Другой перемещался от одной группы к другой. На нем был темный шелковый костюм, темная рубашка, галстук, из нагрудного кармана выглядывал платочек, на ногах красовались знакомые черные штиблеты с будапештским дырчатым узором, темные волосы уложены, лицо оживленно, движения изящны и уверенны – он чувствовал себя звездой. Взял костюм напрокат? Покрасил волосы? Надел корсет или ухитрится втягивать живот? Пока он задавался этими вопросами и пытался втянуть собственный живот, Другой заметил его и подошел.

– Как хорошо, что вы здесь!

Другой повел его знакомить с гостями, представляя «госсекретарем в отставке». Уж если я удостоился чести стать госсекретарем, то кто же тогда на самом деле этот каноник, эти актеры и актрисы? Кем являются на самом деле смущенно улыбающийся человек, якобы крупный специалист по операциям с недвижимостью, и шумные женщины, якобы представляющие Haute Couture? Что касается второй доски, то тут все было чистой правдой – пенсионер, водивший в прошлом тяжелые грузовики; он сопровождал описание своих шахматных партий теми же размашистыми жестами, которыми отправлял грузовик в крутой вираж. Настоящим был и сын, телевизионный техник лет тридцати, который разглядывал отца и его гостей со спокойным, но несколько удивленным любопытством.

Другой мастерски исполнял роль радушного хозяина. Он не упускал из виду ничего – ни опустевшего бокала или тарелки, ни одиноко стоящего гостя, ни заминки в чьей-то беседе: делал знак официанту, затевал разговор с одиноким гостем, заново тасовал группы собеседников до тех пор, пока рядом не оказывались люди, которым было действительно интересно поговорить. Через полчаса дворик был полон разноголосицы.

Когда стемнело, Другой пригласил гостей в банкетный зал. Здесь столы были сдвинуты в длинный ряд. Другой усадил каждого на отведенное ему место. Во главе стола справа от себя он расположил отставного госсекретаря, слева – каноника: к ним подсадил по даме от Haute Couture. Когда все расселись, он встал. Заметив это, гости смолкли.

– Я пригласил вас, чтобы отпраздновать с вами приезд моей доброй знакомой. Но она не придет. Она умерла. Поздравительный банкет превратился в поминальный ужин. Это не значит, что жизнерадостность нам сейчас противопоказана. Я, например, очень рад тому, что вы здесь собрались, мои друзья, мой сын, муж Лизы. – Другой положил ему руку на плечо. – Значит, мое прощание не произойдет в одиночестве. И оно не должно быть скорбным, потому что Лиза была натурой жизнерадостной.

Неужели моя жена была действительно жизнерадостной натурой? Он почувствовал приступ ревности. Он не хотел, чтобы она была жизнерадостной не с ним, а с Другим, или хотя бы более жизнерадостной с Другим, чем с ним. Он постарался вспомнить, как Лиза бывала счастливой, лучилась радостью, улыбалась ему, смеялась, пытаясь заразить его своим счастьем, связанным с детьми, музыкой или садом. Это были редкие моменты. Жизнерадостная натура?

Другой продолжал говорить о том, каким прекрасным музыкантом была Лиза, о богатстве ее репертуара, о глубине интерпретации музыкальных произведений, он превратил ее, приукрашивая действительность, из второй скрипки в солистку. Он поведал о том, как слышал в ее исполнении в Милане адажио из скрипичного квартета опус 76 № 3 Йозефа Гайдна. Он говорил так, будто слышал ее исполнение, слушал приливы и отливы мелодии, скрипка словно совершала легкий и в то же время точно размеренный танец. Низкие ноты поначалу сопровождалась как бы тихим всхлипыванием, но потом скрипка будто подбадривала мелодию маленькой арабеской, возрождающей новые надежды. Затем мелодия начала новый цикл взлетов и падений, за энергичным взлетом последовал гордый аккорд, своего рода пауза, отдых на открытой веранде, после чего можно спуститься по широкой лестнице в прекрасный сад, чтобы весело, но с чувством собственного достоинства, благодарностью и восхищением распрощаться. А скрипка опять танцевала, мелодия плавно взлетала и опускалась, затем вновь следовал гордый аккорд, будто выход на веранду, откуда исполненной достоинства походкой спускаются по широкой лестнице в роскошный сад,

чтобы в конце концов распрощаться вежливым и благодарным поклоном. Но затем вся арабеска повторялась, будто для того, чтобы подчеркнуть гордый аккорд, этот момент пребывания на веранде, и чувство достоинства, с которым совершался последующий спуск по лестнице, все это сохранялось при всем разнообразии вариаций. Но при каждом повторе мелодия совершала все более смелый скачок к аккорду, будто выражая некий протест.

Другой сделал паузу. Может, он слышал этот опус вечером перед первой встречей? В долгих гастрольных поездках оркестра всегда выступал и квартет, состоявший из концертмейстера с Лизой, альтисткой и виолончелистом. Вероятно, он увидел Лизу на выступлении квартета и влюбился в нее. Влюбился, потому что эта хрупкая женщина играла с такой силой, ясностью и страстью, что ему хотелось получить хотя бы частицу этого? Да, она играла именно так. Когда их знакомство только начиналось, он тоже воспринимал ее игру схожим образом. Потом воспринимал это уже не столь остро. Ведь Лиза стала его женой. Она играла вторую скрипку за первым пультом, зачастую отсутствовала вечерами дома, порой как раз тогда, когда он в ней нуждался, причем и зарабатывала-то не особенно много.

Пожалуй, Другой ничего не приукрасил, превратив Лизу в солистку. Просто он видел, какой прекрасной скрипачкой она была. А была ли она солисткой или нет, первой или второй скрипкой, знаменитой или не очень – это представлялось ему не столь важным. Он не приукрашивал, он чувствовал, он видел прекрасное там, где остальные не могли разглядеть его, и лишь заимствовал те атрибуты, которые обычно нужны людям для выражения своего восхищения. Если остальные могли представить себе прекрасную скрипачку только в качестве знаменитости, то и ему не оставалось ничего иного, как говорить, насколько она знаменита, а не насколько она прекрасна. Точно так же он видел себя в роли кризисного менеджера, игрока в поло или владельца увешанного медалями добермана. Возможно, у него действительно были задатки для того, чтобы быть таким и в жизни. Ведь то прекрасное, что он прославлял, имело в высшем смысле вполне реальную основу. Во всяком случае, он рассказывал о Лизе не как о солистке, хотя по его восторженным словам гости понимали все именно так, он говорил об исполнении конкретного произведения, когда вторая скрипка играла в виде исключения решающую, яркую, запоминающуюся партию.

И слова о жизнерадостности Лизы были правдой. Дело не в том, что Лиза была жизнерадостной с Другим, а с ним не была, или была с Другим более жизнерадостной, чем с ним. Просто Лиза по-разному одаривала своей жизнерадостностью, по-разному принимала ее от других, по-разному заражала их ею. Та жизнерадостность, которую он получал от нее, была не меньшей, а именно такой, какую могло воспринять его малоотзывчивое, угрюмое сердце. Она ничего не утаивала от него. Она отдавала ему все, что он способен был воспринять.

Другой закончил свою речь и поднял бокал. Сын его поднялся, встали все и стоя выпили за Лизу. Позднее сын произнес несколько слов об отце. Каноник также выступил с речью, он поведал о святой Елизавете Венгерской и святой Елизавете Португальской, которая примирила своего мужа с сыном. Он пил слишком быстро, явно перебрал и поэтому путался. Актриса заговорила о женщинах в искусстве, начала она с музыки, но вскоре перешла на театр, а затем принялась рассказывать о себе. Постучав вилкой по бокалу и попросив заплетающимся языком внимания, встал шахматист, игравший на второй доске. Он сказал, что не склонен произносить высокопарных речей, зато у него есть пешечный дебют, который разрабатывается уже несколько лет, так вот этот дебют будет назван в честь Лизы.

Банкет продолжался до глубокой ночи. Попрощавшись со всеми, он пошел по пустынным улицам к вокзалу. Там пришлось ждать на перроне первого поезда. Он приехал домой на рассвете. Он думал о том, как пройдет дома следующее утро. Он проснется, увидит солнечный свет, услышит щебет птиц, почувствует дуновение ветерка, и ему все снова вспомнится, и все опять будет в порядке.

## ИЗМЕНА



## Перевод Б. Хлебникова

### 1

Дружба со Свенем и Паулой оказалась единственной из моих восточно-западных дружеских связей, переживших падение Берлинской стены. Все остальные с ее падением вскоре оборвались. Сначала реже назначались встречи, позже уже назначенные встречи в последнюю минуту отменялись. Слишком много было дел: поиски работы, ремонт квартиры или дома, попытки использовать налоговые льготы, заняться коммерцией, разбогатеть и, наконец, путешествия. В Восточном Берлине всем этим раньше заниматься не было возможности, поскольку запрещалось государством, а в Западном – не было необходимости, поскольку деньги из Бонна приходили так или иначе. Словом, тогда времени хватало.

Мы познакомились со Свенем из-за шахмат. Летом 1986 года я переехал в Берлин, где никого не знал, а поэтому заполнял выходные тем, что открывал для себя город – как на Востоке, так и на Западе. Как-то субботним вечером я заметил в летнем кафе на берегу озера Мюнгельзе группу шахматистов, понаблюдал за эндшпилем одной пары, после чего победитель предложил мне сыграть. Когда стемнело, игру пришлось прекратить, и мы договорились продолжить партию в ближайшую субботу.

Уже первый знакомый роднит с городом. При возвращении в Западный Берлин запущенность Восточного Берлина угнетала теперь меньше, его безобразие не так отталкивало. Освещенные окна, задернутые разноцветными гардинами или осиянные голубыми телевизионными экранами, похожие на множество сотовых ячеек в блочно-панельных сооружениях или одинокие в брандмауэре, старые, еле светлые корпуса фабрик, широкие улицы с немногочисленными автомобилями, редкий ресторанчик – я глядел на все это и представлял себе, что вот тут или тут он живет, на этой фабрике работает, по этой улице ездит. Представлял себя входящим в эти двери или выходящим оттуда, проезжающим по этой улице, сидящим в этом ресторанчике.

Моим вторым берлинским знакомым стал малыш со школьным ранцем. Однажды утром, когда я намеревался пересечь широкую улицу перед моим домом, малыш оказался рядом и, спросив: «На другую сторону переведешь?», взял меня за руку. С тех пор он всякий раз возникал рядом, когда я утром подходил к краю тротуара, ожидая, что в сотне метров впереди загорится красный свет светофора и движение приостановится. Позднее, сразу после падения Берлинской стены, Свен и Паула словно помешались на путешествиях; они ездили в Мюнхен, Кельн, Рим, Париж, Брюссель, Лондон – туда и обратно ночным поездом или автобусом, чтобы, совершая двухдневную экскурсию, платить только за одну ночевку. На время поездок дочку Юлию они оставляли у меня, так мой знакомый малыш с ней и подружился. Она еще ходила в детский сад, а потому относилась к моему первокласснику весьма восторженно, его же общение с маленькой девочкой немного смущало, хотя льстила ее восторженность. Звали его Хансом, жил он через несколько домов от меня, там его родители держали киоск, где продавались газеты, журналы и сигареты.

### 2

Ближайшая суббота выдалась дождливой. Я доехал городской электричкой до Восточного Берлина, который выглядел еще более серым и пустынным, чем обычно. От станции Рансдорф пошел к озеру, дождь не прекращался, было холодно, и рука, державшая зонт, закоченела. Еще издали я увидел, что кафе закрыто. Но тут же я заметил Свена. На нем были те же синие брюки матросского покроя и кожаная фуражка-капитанка, что и в минувшую субботу; пухлые щеки и круглые очки делали его похожим на юного и наивного революционера. Стоя в открытых дверях сарая с шахматной доской, поставленной между ног, он пожал плечами и сделал руками жест, который выражал одновременное сожаление

по поводу ненастного неба, дождя, луж и закрытого кафе.

Выяснилось, что он приехал на своей машине, которая и довезла нас к нему домой. По его словам, жена с дочерью отправилась к родителям, вернется лишь к вечеру, а до тех пор нам никто не помешает сыграть в шахматы. Потом он уложит дочку спать, но сначала полчаса ей почитает, как у них заведено. Впрочем, почитать могу и я, тогда он тем временем что-нибудь для нас сготовит. Он спросил, есть ли дети у меня. Я сказал, что нет, и Свен, вздохнув, покачал головой, будто сокрушаясь о моей бездетности.

В ту субботу мы так и не закончили шахматную партию. Свен подолгу раздумывал над каждым ходом. Я оглядывался по сторонам. Светлые самодельные полки для книг, громоздкий темный сервант, стулья под цвет серванта, расставленные вокруг обеденного стола, накрытого белой скатертью, вышитые края которой свисали до самого пола; бамбуковый столик, за которым мы сидели на черных металлических стульях с плетеным сиденьем; черно-коричневая печка, которую топят углем. На стенах висели бело-голубая холстина с голубем, держащим в клюве оливковую ветвь, и «Подсолнечники» Ван Гога. Сквозь мокрые от дождя окна виднелось большое старое здание кирпичной кладки – школа, как пробурчал Свен в ответ на мой вопрос. Иногда под окнами проезжала дребезжащая на булыжной мостовой машина, через равномерные промежутки скрежетал на повороте трамвай. В остальном царила тишина.

Позднее мне прискучили долгие размышления Свена и мы договорились играть на время – либо четыре часа на партию, либо семиминутный блиц. Потом нам надоели и сами шахматы, вместо этого мы начали совершать прогулки с Паулой и Юлией, общались с их друзьями или развлекали себя новыми настольными играми, которые я привозил с собой, причем иногда это удавалось сделать лишь со второго захода, поскольку пограничники задерживали меня, отправляли назад, так что приходилось ждать следующего раза. Или мы беседовали друг с другом; нам обоим было по тридцать шесть лет, мы интересовались театром и кино, нам было любопытно общаться с людьми, заводить знакомства. Иногда, беседуя с приятелями, мы переглядывались, ибо одинаково реагировали на чье-то замечание, обмен репликами или жесты.

Комната, где мы впервые играли со Свенем, позднее всегда выглядела иначе, нежели в ту субботу. Здесь неизменно присутствовал жуткий беспорядок; вперемешку лежали раскиданные игрушки Юлии, рабочие материалы Свена и Паулы, тут же красовались чайник, чашки, надкусанное яблоко, надломленная плитка шоколада; на стойках со шнурами сушилось белье. Вся повседневная жизнь разыгрывалась в этом пространстве, кроме которого в квартире имелась еще маленькая спальня для взрослых, крошечная комнатка для Юлии да тесная кухонька, часть которой была отгорожена и превращена в такую же тесную ванную. В первую субботу Свен прибрал комнату. Он даже купил торт, однако за шахматами забыл про чай с тортом и вспомнил об угощении, только когда услышал за дверью вернувшихся Паулу и Юлию. Вскочив, он пробормотал: «Господи, я же хотел...» и опять сделал руками жест, выразивший извинение и сожаление.

### 3

С Юлией у нас получилась любовь с первого взгляда. Ей исполнилось два года, она была живой, непоседливой, говорливой, а если занималась сама с собой, то тихонько напевала. Но иногда становилась задумчивой, серьезной, будто уже все могла понять. Порой по ее взгляду, движениям угадывалась женщина, которой она станет, когда повзрослеет. То, что она очаровала меня, было не удивительно. Удивляла сердечность, с которой она отнеслась ко мне с первой же встречи, словно в душе у нее существовало местечко, ожидавшее именно меня.

Мои отношения с Паулой складывались трудно. Со мной, Свенем и Юлией она была строга и серьезна, будто осуждала наши забавы вроде башни из шахматных фигур, стриптиза, которому подвергался плюшевый мишка, или огромных мыльных пузырей,

выдувавшихся с помощью кольца величиной с тарелку – я привез его в одну из суббот, и оно собрало в Трептов-парке десяток любопытных. Не одобряла Паула и моих попыток расположить ее ко мне. Она воспринимала их как флирт, а если я пробовал выглядеть таким же серьезным и строгим, но одновременно дружелюбным, то это воспринималось Паулой лишь в качестве нового варианта заигрывания. По мере возможности она старалась меня просто не замечать.

Наши отношения улучшились, когда открылась обоюдная любовь к греческому языку. Паула преподавала его в семинарии при евангелической церкви, я же учил греческий в гимназии и с тех пор увлекался чтением греческих текстов – такое у меня было хобби, вроде того, как другие играют на саксофоне или же покупают себе телескоп, чтобы смотреть на звезды. Однажды по разбросанным книгам я догадался, что Паула знает греческий язык, спросил ее об этом, а она поняла, что я действительно этим интересуюсь и кое-что в греческом смысле. С тех пор она начала заговаривать со мной, поначалу вопросы касались только греческой грамматики, но потом пошли беседы о Юлии, о впечатлениях от уроков или от книги, которую она как раз читала.

Однако лишь летом 1987 года, когда мы вместе проводили отпуск в Болгарии, она заговорила о наших отношениях. Сказала, что поначалу считала меня легкомысленным и опасалась, что Свен в конце концов разочаруется во мне.

– Он так радовался вашему знакомству и боялся, что ты не придешь на встречу. Он и потом еще долго радовался и одновременно боялся. Вы не представляете себе, что означает знакомство с одним из вас, близкое знакомство. Это открывает новый мир, в духовном отношении, да и чего скрывать – в материальном тоже; таким знакомым можно хвастать, показывать его всем друзьям, ревниво оберегая. При этом всегда страшно, что наша экзотическая привлекательность вам прискучит, надоест, и вы заинтересуетесь другими вещами или людьми.

Я мог бы ответить, что они тоже открыли для меня новый мир. Причем отнюдь не экзотический с его быстро преходящими прелестями, открылась другая половина нашего мира, разделенного стеной и железным занавесом. Благодаря этому я чувствовал себя дома во всем Берлине, почти во всей Германии и даже почти на всей земле.

Вместо этого я возразил. Мол, мне нет никакого дела до того, что миры у нас разные и что кто-то торгует доступом к одному миру в обмен на доступ к другому. Мы должны оставаться друзьями, а не менялами. Я не хочу быть западником, а они не должны быть восточниками. Будем просто людьми.

– Ты же не можешь не замечать Стены. Не замечать того, что дружба с нами не такая, как твои отношения с друзьями там или наши отношения с друзьями здесь.

Мы шли по пляжу. Мы с Паулой любили вставать пораньше, когда солнце только всходило над морем. Жили мы в разных отелях: она – в отеле для восточных туристов, я – для западных; на рассвете мы встречались у пристани и гуляли до завтрака. Ходили босиком.

– Смотри, – сказала она, наступив на мокрый песок, с которого только что схлынула волна, и сделав шаг назад, – набегут еще две-три волны, и ничего не останется.

– Ну и что?

– Ничего.

#### 4

Мы долго не разговаривали о политике. Во второй половине восьмидесятых мир успокоился. Восток продолжал быть Востоком, хотя постарел, подустал и сделался мудрее, а Запад, которому уже не приходилось ни чего-либо бояться, ни что-либо доказывать, был сытым и довольным. О какой политике тут прикажете говорить?

После государственных экзаменов я три года проработал в Штутгарте, ассистентом одной из фракций тамошнего ландтага. Поначалу политика захватила меня, затем разочаровала. В Берлине моих политических интересов хватало лишь на то, чтобы регулярно

просматривать газеты. Ту политическую информацию, которая мне требовалась для работы в качестве социального судьи, я получал из специальных журналов и из бесед с коллегами. Что касается Свена и Паулы, то я знал, что они ежедневно слушают большую информационную программу Немецкого радио;<sup>6</sup> газет они не выписывали, а кроме того, они хотели, чтобы Юлия росла без телевизора, поэтому такого дома не имелось. Мне казалось, что они тоже не интересуются политикой, но при занятиях Паулы преподаванием греческого, а Свена литературными переводами с чешского и болгарского, это меня несколько не удивляло.

Дело, однако, обстояло иначе – заметил я это осенью 1987 года. Первое подозрение шевельнулось у меня уже тогда, когда однажды они попросили меня передать на Западе по телефону зашифрованное сообщение, рассказав при этом путаную историю о приятелях, которые ждут с визитом западных родственников, но по разным причинам не могут с ними связаться. Когда просьба повторилась, я догадался, что история выдумана, а они поняли, что я догадался. Если бы все ограничилось этими двумя просьбами, я бы смолчал. Но на третий раз я потребовал объяснений. Меня злило не то, что я подвергался опасности, ее я не боялся, а то, что ожидал от них большего доверия.

Паула настаивала, чтобы я оставался в неведении. Для моего же блага, говорила она. До обращения в христианство и контактов с церковью она была активисткой Свободной немецкой молодежи и членом СЕПГ, поэтому то рвение, с которым она занималась Экологической библиотекой при Сионской церкви, и готовность использовать меня показались мне реликтами ее партийного прошлого.

– Стало быть, цель оправдывает средства?

– Это подло. Я откровенно рассказала тебе, что была в партии, а теперь ты упрекаешь меня.

– Ни в чем я тебя не упрекаю. Если же я не имею права реагировать на твои слова по-своему, то введи цензуру. Чтобы уши твоих товарищей не страдали от простаков вроде меня...

– Да брось ты причитать и обижаться. Верно, надо было объяснить тебе все сразу. Объясняем теперь. В этой стране доверять непросто.

Она раскраснелась и, прислонясь к серванту, глядела на меня сверкающими глазами. Никогда не видел ее такой красивой. Почему она не распускает волосы, а сворачивает их пучком, подумалось мне.

За просьбами о передаче сообщений последовала просьба установить регулярный контакт с одним западным журналистом. До осени 1989 года я информировал его о репрессиях против Экологической библиотеки, об обысках и арестах, об акциях, которые проводили Паула с друзьями, старавшимися использовать рамки легальности, не переступая их. Я задавался вопросом, подозревает ли меня госбезопасность, следит ли за мной. Но контроль на границе не становился ни более частым, ни более пристальным. Тем более, что никаких письменных текстов я при себе не имел.

Весной 1988 года Паула и Свен взяли меня с собою в Сионскую церковь. Там говорили о мире, экологии, правах человека, а в остальном, как мне показалось, шла обычная служба. Но Паула настойчиво утверждала, что я обратил на себя внимание и должен держаться в стороне от политических акций.

– И ты тоже.

– Что? – Свен с недоумением взглянул на нее.

– Ты же только из-за меня в этом участвуешь. Если со мной опять что-нибудь случится, это не должно коснуться и тебя. Подумай об Юлии.

– Ничего с тобой не случится.

– Откуда тебе известно, а?

Она пристально посмотрела на него, и он уступил.

---

<sup>6</sup> Радиостанция ФРГ.

Потом начались перемены. Паула выступала на демонстрациях, стала членом социал-демократической партии, участвовала в работе над новой конституцией, и ее чуть было не выбрали в состав последней Народной палаты. Свен вошел в группу, которая занималась архивом госбезопасности и подготовила первую книгу об ее структуре, деятельности, сотрудниках. Несколько месяцев оба пребывали в состоянии политической эйфории.

Но еще до объединения Германии Паула очнулась, заставила прийти в себя Свена, грезившего созданием новой партии или учреждением политического издательства, после чего они принялись устраивать жизнь заново. Свену повезло с должностью редактора в издательстве при берлинском Свободном университете, Паула стала доцентом Университета Гумбольдта. Они смогли позволить себе переезд со Шнеллерштрассе в район Пренцлауер Берг. Жизнь наполнилась хлопотами, связанными с новой работой, новой большой квартирой, с поступлением Юлии в школу. Ностальгия по ГДР их не мучила. «Для нас перемены сложились к лучшему», – говорили они порой с удивлением, будто дела у них должны были бы идти так же, как у многих из тех, кто чувствовал себя в результате объединения Германии обделенным, поскольку теперь не были востребованы либо их приспособленчество, либо их диссидентство.

На какое-то время Свен поддался искушениям потребительства. Он купил большую машину, носил костюмы от Армани, наряжал Юлию, словно принцессу. Паула этого не одобряла. «Наше стремление к вещам было ничуть не лучше, чем ваше обладание ими, а теперь все до противности сравнялось». Но она и сама изменилась, пусть это не так бросалось в глаза. Она продолжала отдавать предпочтение серым и зеленым платьям или костюмам, которые, однако, сделались элегантней, туфельные каблочки подросли, а очки в новой тонкой оправе придали ее лицу почти высокомерное выражение. Одновременно изменился и голос, стал более звучным и уверенным. Свен уговаривал ее распустить волосы. Ее это даже огорчило, будто распущенные волосы были их интимной тайной, которую он готов был предать ради прихотей моды.

Даже после того, как краткосрочные путешествия Свену и Пауле приелись, они иногда продолжали оставлять мне Юлию на ночь. После уроков она спускалась в ближайшую от школы станцию метро и выходила на ближайшей от меня станции, встречалась с Хансом, звонила от него родителям, сообщая, что решила переночевать у меня, а потом звонила мне сказать, что ждет меня. Девчужка стала совсем самостоятельной.

Весной 1992 года мы опять провели отпуск вместе, проехав по Тоскане и Умбрии до Анконы к самому морю. Мы вновь вставали с Паулой спозаранок, совершали на заре прогулки по берегу. Как-то я посетовал, что больше не вижу ни с кем из их друзей, с которыми подружился и сам.

– Мы тоже мало с кем видимся. Слишком все изменилось.

– Может, Гаук виноват?<sup>7</sup>

Она пожала плечами.

– Мы решили не смотреть архивных дел. Мы достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы верить доносам и терзаться подозрениями.

– Кто это решил?

– Ханс и Уте, Дирк и Татьяна, чета Тейсенсов и четверка из оркестра. Последний раз мы встретились все вместе третьего октября 1990 года, тогда и решили. Не злись, что тебя не

---

<sup>7</sup> *Йоахим Гаук* (р. 1940) – протестантский священник, активный участник «бархатной революции» в ГДР. С 1990 по 2000 г. возглавлял федеральное ведомство, хранившее архивы бывшей службы госбезопасности ГДР. Даже в 2001 г. туда продолжали ежедневно обращаться около трехсот граждан для знакомства с материалами своего личного дела.

спросили. Нам казалось, что это наша проблема, а не твоя.

Меня взяла досада. По-моему, друзья не должны были делить проблемы на свои и мои, не переговорив со мной.

Она почувствовала мою досаду, хоть я ни словом не обмолвился.

– Ты прав, нам надо было переговорить с тобой. Это и твоя проблема. Могу только сказать, что мы случайно затронули эту тему, а потом все ужасно разгорячились. В конце спора у всех было чувство, что нельзя ограничиться разговорами. Нужна какая-то определенность, вот и приняли решение.

– Единогласно?

– Нет, Ханс и Татьяна были против, к тому же Татьяна вообще отказалась признавать для себя наше решение. Она хотела ознакомиться со своим делом.

– Ознакомилась?

– Не знаю. Мы больше не общались.

Я не раз задавался вопросом, не было ли осведомителей в этом кружке друзей. Теперь мне захотелось это выяснить. Все еще сказывалась досада.

– Я тоже хочу взглянуть на мое дело.

## 6

Осенью Свен получил бессрочное трудовое соглашение. Он долго надеялся на него, но в конце концов перестал. И вдруг начальник отдела вручил ему контракт.

Свен позвонил мне в суд.

– Приходи вечером. Будем праздновать.

Вечером я поехал к ним с шампанским и букетом цветов. Свен готовил. Он открыл бутылку белого вина и уже наполовину опустошил ее; я еще никогда не видел его таким веселым.

– Шеф объяснил, почему так долго тянул с контрактом?

– Нет. Сказал лишь, рад, мол, что контракт наконец состоялся. И что я первый восточный немец на академической должности в Свободном университете, с которым подписано бессрочное трудовое соглашение. – Он просиял. – Знаешь, иногда меня грызет мысль о том, что мне никогда не стать светилом. Редактор по чешской и болгарской литературе – тоже мне достижение. Ты когда-нибудь начнешь заседать в Верховном суде, наденешь красную мантию. Паула достанет отложенную диссертацию, защитится и станет профессором. Но ведь нужны не только большие светила, но и маленькие светильники, чтобы в мире было светло и тепло. Вот у Паулы нет бессрочного контракта, и, если она однажды решит бросить работу или захочет дописать диссертацию, чтобы стать профессором, тогда окажется, что хорошо, когда в доме есть скромный светильничек вроде меня.

Пришли Паула с Юлией. Паула забрала Юлию с продленки и угостила по дороге мороженым, отчего та дома развеселилась, начала дурачиться. Они закружились со Свеном по кухне, потом по гостиной. Прислонившись к серванту, я попил белое вино, чувствуя, как меня заражает их веселье. Через некоторое время я заметил, что Паула молчит. Иногда она улыбалась на какую-нибудь забавную выходку Юлии, легонько трепала дочь по голове, но вид у нее оставался отсутствующим. Когда Свен поставил пластинку с вальсом и пригласил ее на тур по кухне и коридору, она отказалась. Мне подумалось, ее раздражает, что Свен слишком много пьет, но она и сама пила бокал за бокалом.

Свен догадался, что Паула чем-то расстроена, и захотел ей помочь. Он стал внимателен, заботлив, нежен, при этом вел себя с трогательной неловкостью пьяного человека. В ответ следовал один отвергающий жест за другим; она отстранялась, когда он подходил к ней, пытался обнять или положить голову ей на плечо. Юлия начала растерянно поглядывать то на отца, то на мать.

Я ощущал собственную беспомощность. Мы сидели в гостиной за обеденным столом,

Юлия и я с одной стороны, Свен и Паула – с другой, и я вспомнил о своем отчаянии, когда между моими родителями назревала ссора, а я боялся, что эта ссора вспыхнет и разрушит все, на чем зиждилось мое доверие к этому миру. Вспомнились многочисленные вечера, когда я сидел за ужином с родителями, стараясь стать совсем незаметным, чтобы не вызвать у взрослых раздражения, способного обернуться родительской ссорой. Юлия тоже постаралась стать незаметной.

Я задался вопросом, много ли мне известно о семейной жизни Свена и Паулы. Их брак всегда казался мне гармоничным, но мне и хотелось, чтобы он был таким. Иногда Свен пробовал заговорить о себе и Пауле, но я не поддерживал разговора. Не желал слышать о размолвках между супругами, как ребенок не хочет знать о размолвках между родителями. Впрочем, об их семейном счастье я тоже не желал ничего слышать.

Я уложил Юлию в постель. О Свене и Пауле мы не разговаривали. Я прочитал ей сказку, посередине которой девочка заснула, утомленная то ли долгим днем, то ли событиями вечера, то ли переживаниями из-за родителей. Когда решил отправиться домой, Свен и Паула принялись уговаривать меня остаться. Вечер, дескать, не задался, однако можно посмотреть две видеокассеты с фильмами, которые мы давно собирались посмотреть, но откладывали, чтобы не портить удачные вечера. Они уговаривали меня с такой настойчивостью, которая была бы уместнее для устранения их размолвки.

Посмотрели оба фильма. Я с удовольствием увлекся бы ими, но не получалось. Чувствовалось напряжение между Свеном и Паулой, а у меня возникло идиотское чувство, что если я увлекусь фильмом и перестану следить за обоими, то произойдет нечто скверное. Мы выпили слишком много вина, поэтому Свену и Пауле не составило особого труда убедить меня не ехать домой, а заночевать у них.

## 7

Постелили мне в гостиной, проходной комнате с двумя дверями и окном, выходящим во двор. Я лежал на матрасе прямо на полу, смотрел в открытое окно, где виднелись темная стена и темная крыша с темной трубой на фоне по-городскому светлого ночного звездного неба, слышал шум, который равномерно то нарастал, то затихал, будто это тяжело дышали окружающие двор дома, разогретые духотой летней ночи. С церковной колокольни пробил один удар, и, ожидая следующего, я заснул.

Все получилось похожим на сон, позднее я даже спрашивал себя, не было ли это действительно сном.

Она сидела на краешке матраса. Я хотел спросить, что случилось, но не успел, так как она шепнула «Тсс...» и дотронулась пальцем до моих губ. Я взглянул на нее, но не смог рассмотреть ее лица в темноте. Лишь слева на него попало немного света, чуть блеснув на щеке и в глазах. Волосы у нее были распущены, слева шея приоткрылась, пряди упали на правое плечо. Левой рукой она придерживала на груди халат, правой показывала жестом, чтобы я молчал.

Видела ли она, что творится со мной? Паула была женой моего друга, а жены друзей не могут быть желанными, они неприкасаемы, флиртовать с ними – это все равно, что флиртовать с младшей сестрой или почтенной дамой, такой флирт остается просто игрой, которой не дано обернуться чем-либо серьезным. Нельзя сказать, чтобы я никогда не дотрагивался до Паулы, не обнимал ее, что не бывало мгновений, когда мы вместе смеялись, когда возникало чувство взаимопонимания и близости. В такие мгновения я мог бы себе представить, что люблю ее. Что мог бы любить ее сильнее и сделать ее счастливее, чем Свен. По-моему, и она порой задавалась подобным вопросом. Но все это были фантазии о каком-то ином мире, в котором Свен оставался бы моим другом и был бы счастлив со своей женой, а я любил бы даже не ее, а какую-то другую женщину, похожую на нее, вместо тех девушек, с которыми сходил на непродолжительное время. Нет, тут не было подавленного желания, которое наконец получило выход. Мы оба знали это, и если бы мы заговорили, то все было

бы сказано и встало на свои места.

Но мы не говорили. Когда ее палец, касавшийся моих губ, чтобы я молчал, скользнул по моему лицу, очертил брови, тронул виски и щеки, мне расхотелось говорить. Я закрыл глаза, сохраняя образ Паулы, чужой и красивой, с распущенными волосами, с обещанием другой Паулы, не той, что я знал. Я чувствовал не только прикосновение ее пальцев, но и близость и тепло ее тела. Не дотрагиваясь до нее, я дышал ею. Когда я вновь открыл глаза, она взяла ладонями мою голову, наклонилась и поцеловала. Ее волосы закрыли наши лица.

Мы любили друг друга с таким спокойствием, словно делали это не впервые и перед нами была целая вечность. Будто совесть у нас была спокойной. Нет, только не у меня, я думал о Свене, который спал за стеной, о том, что произойдет, если он проснется и застанет нас вдвоем, и о том, как мне вести себя с ним утром. Но укоры совести были бессильны, словно она просто исполняла свою обязанность, не слишком интересуясь результатом. Я даже с каким-то злорадством отметил, что никто и ничто не удерживало ни меня, ни Паулу. Я чувствовал себя свободным. И сильным. Будто открыл для себя, что теперь она навсегда будет моей, стоит мне только захотеть. Я с гордостью ощутил ее оргазм, после чего настал мой черед, это ощущение той гармонии, которое испытываешь в танце от слаженного движения с женщиной, от ее привлекательности и от собственной легкости.

Потом мы лежали рядом. Это было правильное сочетание близости и оставленного пространства, которое сложилось само собой, безо всяких усилий. Теперь мне захотелось поговорить – не о том, хорошо ли ей было со мной, это я знал и так, а о том, что нам теперь делать дальше. Но она опять коснулась пальцами моих губ: «Тсс...» Раньше молчание объединяло нас, теперь разделяло. Потом я заметил, как на ее лице блеснули слезы. Я хотел приподняться, поцеловать мокрые щеки, вытереть слезы. Ей, наверное, показалось, что я хочу убрать ее пальцы от моих губ, чтобы все-таки заговорить, поэтому она села, набросила халат, затем, придерживая его на груди левой рукой, нагнула голову, подхватила правой рукой волосы, закинула их назад. На какой-то миг она замерла на краю матраца в той же позе, в какой сидела, когда пришла. Пока я решал, стоит ли мне удержать ее для разговора, она выскользнула из комнаты.

## 8

Когда я опять проснулся, было все еще темно. На этот раз я услышал скрип двери и шаги. Это была Юлия.

– Что случилось?

– Я проснулась и не могу заснуть. Папа с мамой ругаются.

Стоя перед моей постелью, она выжидающе смотрела на меня. Я пригласил ее присесть, надеясь, что запахи любовной сцены выветрились и она ничего не почувствует. Юлия юркнула под одеяло.

– Они очень громко ругаются, обычно так не бывает.

– Родители иногда ссорятся, бывает, потише, бывает, погромче.

– Но...

Я понял, что ей хотелось бы услышать, из-за чего могут спорить родители, лишь бы причины не были такими, из-за которых для нее мог бы нарушиться порядок вещей, но мне не хотелось чересчур смягчать возможный конфликт между родителями, поскольку я не знал, насколько он был серьезен.

– Знаешь, историю про овечек?

– Которые прыгают через ограду и которых надо считать, чтобы заснуть?

– Нет, другую. Там тоже есть ограда, но калитка открыта, и овечек считать не надо.

Рассказать?

Она кивнула с такой готовностью, что я разглядел это даже в темноте. Теперь и я расслышал голоса Свена и Паулы, хотя между нами был длинный коридор да еще поворот за угол, где находилась родительская спальня и комната Юлии. Голоса едва доносились, но мне



хватило и этого, чтобы задаться вопросом, не стоит ли одеться и потихоньку убраться отсюда, чтобы никогда больше не появляться в этом доме. Я злился на Свена и Паулу, не умеющих справиться с семейными проблемами, на Паулу, которая, втянув меня в историю, бросила, на Юлию, которой я должен заниматься, будто у меня нет своих забот. А еще я злился на себя за то, что натворил в моих отношениях со Свенем, за то, что слишком близко допустил к себе Паулу.

– Не будешь рассказывать?

– Буду. Дело происходило в одном краю, где высокие-высокие горы. На самой вершине горы – только снег и лед, а пониже скалы и осыпи, еще ниже – луга и уж только потом густые леса. Перед самыми высокими горами находятся другие, поменьше, а на самых маленьких горах растет трава, такая же бурая, как на равнине, которая начинается там, где кончаются горы, и простирается она до самого горизонта, даже еще дальше, куда уже не хватает взгляда. Ты слушаешь?

– Да, только я все равно слышу, как папа с мамой ругаются.

– Я тоже. Рассказывать дальше? Только это не страшная история, а то от страшной истории не заснешь.

– Рассказывай.

– У подножья горы стояла овечья кошара. Большая кошара, где было много овец.

– А что такое кошара?

– Это загон для овец, без крыши, только ограда из двух перекладин. Представляешь себе кошару?

– Да.

– Представь себе, что утром ты оказалась в горах, самых высоких. И вот...

– А как я там очутилась?

– Не знаю. Может, ты там родилась.

– Ну.

– Во всяком случае, ты оттуда спустилась. Шла долго, сначала по глубокому снегу, потом по скользкому льду, иногда приходилось слезать со скал и пробираться по осыпям. Порой надо было взбираться на другой склон, чтобы на обратной стороне спуститься еще ниже. Затем ты долго продиралась через лесную чащу. И уже на самом закате ты вышла из леса и увидела последнюю маленькую гору, а за нею широкую равнину.

– А кошару?

– И кошару. Она прямо перед тобой. Солнце уже зашло за высокую гору, поэтому кошара уже в тени. А равнина еще освещена, солнце теплое, бурая трава отливает в его лучах золотом. Кто-то снял одну перекладину с ограды. Неизвестно кто, потому что вокруг нет ни одной человеческой души. Тебе только видно, что некоторые из овечьей отары, их, может, несколько сотен, осмелились выйти из кошары; они пасутся за изгородью, а следом начинают выходить другие, поначалу они пасутся рядышком, а потом разбредаются все дальше и дальше. Ты присаживаешься. У тебя был долгий и трудный день, поэтому тебе приятно отдохнуть. Ты хоть и чувствуешь усталость, но оглядываешься по сторонам.

– Ну. – Она легла на бочок.

Я погладил ее по голове, прикрыл одеялом.

– Оглядываешься и видишь, как овечки идут и идут из загона. Некоторые останавливаются, щиплют травку. Другие бегают туда-сюда. Но все идут на широкую равнину. Те, кто ушел далеко вперед, белеют на солнышке яркими точками, а на отстающих падает тень от горы. Потом солнце совсем скрылось за горой, и равнина окуталась сумерками. И вся она в светлых пятнышках, которые потихоньку разбредаются дальше и дальше. Кошара опустела. Иногда до тебя доносится блеяние овец. А пятнышки бредут все дальше и дальше. Видишь?

Юлия заснула.

Несколько раз Паула и Свен переходили на крик. Потом они затихли, и мне показалось, что ссора закончилась. Но вскоре она разгорелась опять. Мне вспомнились давние и мучительные размолвки с женой. Мы ругались до изнеможения, но изнеможение не умиротворяло нас, а только давало передышку, чтобы ссора могла возобновиться с прежней силой.

Я встал, натянул брюки и свитер, пошел на цыпочках по скрипучим половицам. Тихонько приоткрыв дверь, я выскользнул в коридор, закрыл за собою дверь. Прокрался к спальне.

– Сколько можно повторять? Мне в голову не приходило, что ты можешь так взбелениться. – Свен чеканил каждое слово.

– Почему ты мне ничего не рассказал?

– Таковы правила игры. Об этом не болтают.

– Это их правила, не наши. Мы же договорились обо всем рассказывать друг другу, а им сказать, что у нас нет секретов друг от друга.

– Тогда казалось, что нам не придется играть в их игры. А когда я в это дело ввязался, наша договоренность утратила силу.

– Ты не имел права ввязываться без разговора со мной, без моего согласия. В нашей договоренности не было условий, которыми ты мог распоряжаться по собственному усмотрению.

– Разве ты дала бы согласие?

– Нет, сколько бы ты ни спрашивал, я...

– А я спрашиваю не затем, чтобы получить твое согласие задним числом. Просто пойми, что я не мог рассчитывать на тебя, только на себя самого. Я должен был.

– Ничего ты не был должен. Даже не заикайся об этом. Ты сам хотел. И я битый час прошу тебя сказать, наконец, почему.

– Прекрати говорить так, будто это делалось ради моего собственного удовольствия. Я сделал это ради тебя.

– Ради меня? Помимо моей воли? За моей спиной? Да кто дал тебе право...

– Знаю, у меня нет права решать за тебя, что для тебя хорошо, а что плохо. Но пойми своей головой, у меня есть обязанность думать о ребенке. Ему нужна не героиня и не мученица, а мать. Я только старался сохранить ему мать.

– И поэтому предал все, что важно для меня? Что было важно для нас? Ты все это опошил и испоганил.

Похоже, подобные слова произносились не впервые. Голоса казались усталыми, он говорил с обессиленной рассудительностью, она безнадежно пыталась убедить, как ужасно его предательство. Мне не хотелось слушать их дальше. Я повернулся, чтобы уйти, но тут Свен распахнул дверь.

– Шпионишь? Шпик сразу замечает, когда за ним шпионят. Да, Паула, я был шпииком. А теперь это знает и наш приятель, охочий до замочных скважин. Добро пожаловать на судилище.

С ироническим поклоном он сделал рукой приглашающий жест. Я вошел в спальню, он затворил за мною дверь и встал у порога, словно сторожа выход от меня или Паулы. Она стояла у окна, повернувшись к нам спиной.

Я прошел в спальню, не зная, куда мне деться. Сесть не решился, остановился между Паулой и Свенем.

– Юлия пришла ко мне, потому что не могла спать из-за вашей ссоры. А потом я и сам не мог заснуть, слышал голоса.

– И решил поинтересоваться? Из чистого любопытства? Из властолюбия? Ведь знание – сила, а если все знаешь о друзьях, то получаешь над ними власть. А может, ты движим дружеским участием? Хочешь помочь друзьям в трудную минуту, для чего и пристроился к замочной скважине?

– Я не знал, в чем дело, не решился постучать или спросить. Собрался уйти.  
– Уйти? Точнее, тихонько улизнуть, чтобы мы не заметили, что ты подслушивал. – Свен откровенно хамил, тыкая в меня пальцем, будто подчеркивая каждое оскорбление.  
– Свен, прекрати. – Паула одернула его, не оборачиваясь. Я разглядел ее лицо в оконном отражении. – Его ты тоже предал, как и всех остальных.  
– А вот это уже лишнее.  
– Они так или иначе все узнают.  
– От тебя?  
Она обернулась.  
– Нет, Свен, не от меня. На будущей неделе Хельга идет на прием в ведомство Гаука, а ты знаешь, какой у нее длинный язык.  
– Хельга – сплетница, никто не принимает ее всерьез.  
– Очнись, Свен. Ты теряешь все – работу, друзей, жену. А когда-нибудь и Юлия захочет узнать правду, что ты тогда ей скажешь?  
Свен умолк. Вытаращив глаза и открыв рот, он глядел на Паулу, и вид у него был глупый, недоумевающий, беспомощный.  
– Почему ты хочешь уйти? Разве я обманул тебя? Сегодня даже супружеская измена не считается катастрофой. Тейсены со своими изменами справились, а мы... Я никогда не обманывал тебя, я бы просто не смог. Я всегда любил только тебя, Паула, и всегда буду любить только тебя.  
– Знаю. – Она подошла к двери. – Пусти. Я хочу кое-что принести, чтобы показать тебе.  
Он схватил ее за руку.  
– Ты вернешься?  
– Я же сказала.

## 10

Он взглянул на меня, по-детски пухлощекий, как во время нашей первой встречи, сделал рукой знакомый жест тщетного сожаления.  
– Довольно тупиковая ситуация, а? Может, есть идея?  
– Нет. – Я пожал плечами. Следовало бы обнять его, чтобы успокоить, но я не смог.  
– Может, лучше тебе все рассказать... До того, как ты услышишь об этом от Хельги или прочтешь... Собственно, особенно рассказывать нечего... – Он сделал над собою усилие. – Я немножко хвалился тобою перед госбезопасностью. Говорил, что когда-нибудь ты займешь важный пост, а тогда я смогу получать от тебя интересную информацию. Собственно, я ничего о тебе и не рассказывал, просто обнадежил, дескать, не сейчас, а позднее, может, что-нибудь выйдет...  
– Либо помолчи, либо говори правду. – Паула вновь появилась в дверях.  
– Правду?.. Хорошо, я сказал, что политическая система ФРГ его разочаровала и что, может, мне удастся уговорить его работать на нас. Что из-за своих политических разочарований он ищет новые ориентиры и ценности, чтобы отстаивать их. – Свен перевел взгляд с Паулы на меня. – Мне очень жаль, очень. Мне казалось, что это никому не повредит, а пользу принесет многим – тебе самому, Пауле, а вместе с Паулой и Юлии, и мне. Я тебя не предавал. Никого не предавал. Я только...  
Паула протянула ему ворох бумаг:  
– Читай!  
Опустив руку с бумагами, он переводил глаза то на нее, то на меня. Он искал какие-то слова, будто могли найтись такие, которые избавили бы его от чтения этих бумаг. Будто тогда сокрытая в них правда так и осталась бы сокрытой. Но таких слов не нашлось, и, тяжело вздохнув, он начал читать.  
– Ты говорил с ним о нашей личной жизни. Погоди, сейчас будут интимные подробности. Он мог узнать их только от тебя.

Она снова встала у окна, скрестив руки и глядя прямо в лицо Свену.

Он продолжал читать. Потом опустил лист.

– Он был не так уж плох. Как-никак мы сотрудничали. Не то чтобы были товарищами по работе, но все-таки вроде этого, а ведь товарищи по работе разговаривают о женах, о женщинах. А главное, Паула, я же не сказал о тебе ничего дурного. Просто немножко хвастал тобой.

– Ты рассказывал этой твари из госбезопасности, как я веду себя в постели. Ты предавал нас, предавал нас, и себя, и меня. Ведь разговаривал ты не с другом, не с коллегой, а с одним из этих. Ты хвастал мной, хвастал тем, как я хороша в постели, чтобы сказать, что вообще-то, дескать, я существо безобидное, только немножко чересчур напичкана гуманистическими идеалами и направлена церковью по ложному пути. Мол, не воспринимайте всерьез того, что она говорит на собраниях. Мол, она слишком легко поддается чужому влиянию, поэтому ее втягивают в неблагоприятные дела. Этим ты подставил Хайнца. Ты сделал из него манипулятора и главаря, который...

– Только чтобы спасти тебя. Только ради того, чтобы тебя не... После всего, что случилось, им нужен был кто-то, и, если бы не Хайнц, взяли бы, наверное, тебя. А Хайнца через несколько месяцев выпихнули на Запад, больше ничего страшного с ним не произошло.

– Ты ничего не понял. – Ее трясло от волнения. – Ты не меня спасал, не такую меня, какая я на самом деле, а такую, какая подходит им. Безобидная женщина, хороша в постели, а остальное не стоит принимать всерьез. Вот какой ты меня спасал, а какая я на самом деле, тебе было совершенно безразлично. Хотя за то, что для меня важно, я готова на арест, но не предаю этого, а что касается моей дочери, то пусть лучше ее мать сидит в Бауцене, чем станет предательницей – и на все это у меня есть право, это моя жизнь, моя вера, я мать своей дочери. А ты у меня все отнял, вероломно, подло, трусливо. И не говори, что ради любви. Это не любовь.

– Но... – Побледнев, Свен в полной растерянности уставился на нее.

– Нет, не любовь. Что бы это ни было, я этого не хочу. И не говори, будто даже супружеская измена – не катастрофа. Ты не просто разок обманул меня. Ты у меня землю выбил из-под ног. Всю нашу жизнь разрушил. Я уйду. С тобой не останусь.

Свен оторвался от стены. Нетвердым шагом двинулся к двери, открыл ее, вышел в коридор. Было слышно, как открылась дверь ванной. Его тошнило.

## 11

Когда он закрылся в ванной и пустил воду, мы с Паулой переглянулись.

– Что там вышло с Хайнцем? – Вообще-то, мне хотелось спросить о другом.

– Мы устроили с ним вместе пацифистскую акцию на Александр-плац. У часов, которые показывают время по всему миру. Это было первого января 1988 года, и мы прикрепили таблички, которые указывали, в каких регионах мира за истекший год шли вооруженные конфликты или гражданские войны, а также количество жертв. Они, естественно, сочли это провокацией. Разве можно, дескать, валить в одну кучу освободительные войны угнетенных народов и захватнические войны империалистов. Будто война от этого перестает быть войной. Нас арестовали, меня трое суток допрашивали, вынесли предупреждение и отпустили, а Хайнц отсидел семь месяцев, потом его выслали. Благодаря Свену мой поступок сочли просто глупой выходкой, а Хайнца обвинили в подрывной деятельности, агитации и пропаганде, которую он вел в церкви по наущению западных подстрекателей. При этом мы работали вместе несколько лет, он делал то же самое, что и я, не больше и не меньше.

– Хайнц об этом знает?

– У нас больше не было контактов. Он не давал знать о себе с Запада, даже после объединения. Возможно, думает, что я выдала его тогда, чтобы спасти собственную шкуру.

– Свен сообщал обо всем, что знал, в госбезопасность?  
Она кивнула.  
– И разговаривал со своим опекуном, будто со старым приятелем, о себе, обо мне, об Юлии.  
– Когда это началось?  
– Когда вы познакомились. Летом или осенью 1986 года.  
– Ему платили?  
– Подкидывали по паре сотен марок. Я иногда удивлялась, когда он приносил нам с Юлией подарки, но вопросов не задавала. Нет, корыстным он не был. Да и кто был корыстным в ГДР?  
– Ты ни о чем не догадывалась?  
– Потому что советовала держаться подальше от моих политических дел? – Она пожала плечами. – Не знаю. Пожалуй, нет. Знаю только, что не хотела догадываться.  
– Паула?  
– Да? – Она улыбнулась, устало и печально, будто уже знала дальнейший ход разговора и то, что ему суждено кончиться ничем.  
– Почему ты решила переспать со мной?  
Она не ответила.  
– Паула!  
Вздыхнув, она отвернулась. Я вновь увидел ее лицо в оконном отражении.  
– Ты сделала это, потому что он обманул тебя, а ты решила посмотреть, не удастся ли тебе помириться с ним, если ты ему изменишь и тоже будешь виновата?  
Она ничего не сказала, не кивнула, а разглядеть выражение ее лица в окне я не сумел.  
– Или ты хотела, чтобы я чувствовал себя виноватым перед Свеном и не упрекал его за предательство?  
Она опять промолчала.  
– Паула, скажи хоть что-нибудь. Ведь дело было не во мне, так? Дело было в тебе, ты хотела, чтобы я тебя утешил? Только ты не дала мне времени. – Я ждал. Ждал, что она скажет что-нибудь обо мне, пусть не о любви, хотя бы о том, что доверялась мне, нуждалась в моей близости.  
Она продолжала молчать.  
– Значит, дело только в тебе и Свене. Тогда признайся себе в этом и оставайся с ним. Чудовищно это или чудесно, но он предал тебя, а ты все равно его любишь.  
Я подождал, решил уже, что она вновь отмолчится. Но она вдруг спросила у своего отражения:  
– Разве можно любить того, кого презираешь?  
– Почему он стал осведомителем?  
– Он сам им предложил. За меня боялся. Давно боялся, а особенно после моего первого ареста в 1985 году. Когда познакомился с тобой, понадеялся, что сможет давать информацию о тебе взамен на их снисходительное отношение ко мне. Только о тебе нечего было сообщать, – она улыбнулась, – пришлось кое-что самому придумывать, а потом он уж совсем оказался у них в руках.  
Вдруг я заметил в спальне Свена. Я не слышал, как он вошел. Наверное, он нарочно двигался бесшумно. Интересно, давно ли он стоит здесь и слушает?  
Паула резко обернулась.  
– Продолжаешь? Крадешься, подслушиваешь. Если хочешь узнать что-нибудь, спроси меня. Только никогда больше не подкрадывайся, никогда... – Неожиданно крик ее оборвался. Паула махнула рукой. – Делай что хочешь. – Она шагнула к двери.  
– Паула, не уходи, пожалуйста. Я не подкрадывался. Просто не хотел шуметь, чтобы не разбудить Юлию. А потом я подумал, что если буду знать, о чем вы говорили, то соображу, что мне надо еще вам сказать. Только я не подслушивал.  
Они стояли лицом к лицу. Он с сожалением поднял руки, с сожалением опустил. На

глазах у него были слезы, и в голосе слышались слезы.

– Я так боялся, так боялся все эти годы. За тебя, за нас, потом боялся, что ты все узнаешь. Ты ничего не хотела знать о моих страхах, о страхе за тебя и за нас, я с ума от него сходил, а ты не могла мне помочь. Я не такой сильный, как ты, никогда не был сильным. Я пробовал рассказать тебе о моих страхах, намекал, что, может, тебе не стоит заходить так далеко, но ты ничего не слышала. – Он всхлипнул. – Почему ты не бросила меня тогда, когда поняла, что я слабее, боязливее и что я не одобряю твоих дел? Потому что был тебе нужен? В постели? Чтобы заботиться об Юлии, на которую у тебя не оставалось времени? Чтобы вести хозяйство? – Он утер ладонями глаза и нос. – А теперь я тебе больше не нужен. Ты уходишь, потому что я больше не нужен.

– Нет, ты был бы мне нужен. Но ты уже не тот, каким...

– Я остался тем же самым. – Теперь он сам перешел на крик. – Тем же самым, слышишь? Может, я для тебя уже не хорош, может, ты хочешь кого получше или уже нашла кого получше. Тогда так и скажи, будет, по крайней мере, честно.

– Не кричи, Свен. Я сама скажу все, что сочту нужным.

– Да, если ты сочтешь нужным сказать. – Повернувшись ко мне, он в упор взглянул на меня. – А ты? Тебе разве нечего сказать? – Он ждал ответа, а не дождавшись, сел на кровать и уставился на собственные ноги. Паула шагнула к двери, но не вышла из спальни, а прислонилась к стене там, где раньше, прислонившись к стене, стоял Свен.

## 12

Мы ждали. Чего, не знаю. Возможно, того, что кто-то скажет что-нибудь недосказанное? Или сделает что-нибудь? Например, что Паула откроет шкаф, соберет чемоданы и уйдет? Или того, что уйдет Свен?

Уйти хотелось мне самому. Но я не мог. Не мог уйти молча, но и не знал, что должен сказать. Так и остался стоять, будто парализованный и онемевший. Когда я поглядывал на Паулу, а она замечала мой взгляд, то устало и печально улыбалась в ответ. Иногда Свен отрывал глаза от собственных ног, испытующе смотрел то на Паулу, то на меня.

На улице тем временем светало. Поначалу небо сделалось серым, потом белесым, затем голубым. Прежде чем дойти до соседней крыши, лучи солнца попали на купол телебашни, купол засверкал. До чего много в городе птиц, подумалось мне. Их громкий щебет доносился со старого каштана, который стоял во дворе. Подойдя к окну, я растворил его, чтобы впустить свежий воздух. Городской воздух, веющий утренней прохладой только потому, что прохладной выдалась ночь. Со двора доносился запах мусорных контейнеров и компостерной кучи, заложенной местными экологами. На церковной колокольне часы пробили шесть.

Неожиданно в дверях появилась Юлия. Она смотрела на нас удивленными и заспанными глазами.

– Мне сегодня надо быть в школе в четверть восьмого. У нас репетиция. Завтрак мне дадите? – Повернувшись, она ушла в ванную.

Свен встал, пошел на кухню. Хлопнула дверца холодильника, потом духовки, звякнула посуда, вскоре засвистел чайник. Когда Юлия вышла из ванной в коридор, Паула оторвалась от стены и шагнула за дочерью. Было слышно, как в комнате у Юлии скрипнул шкаф, выдвигались и задвигались ящики, мать с дочерью обсуждали, что взять на репетицию и как спланировать день. Когда они прошли в кухню, Свен позвал меня.

На кухонном столе стояли четыре чашки и четыре тарелочки с разогретыми булочками.

– Тебе кофе? – Свен наполнил чашки. Я сел. Юлия принялась рассказывать о пьесе, которую они решили поставить, о том, как идут репетиции, о подготовке спектакля. Иногда Паула или Свен вставляли какое-либо замечание, хвалили, задавали вопросы.

Когда Юлия встала из-за стола, Свен тоже поднялся.

– Я провожу тебя.

Паула кивнула:

– Я тоже с вами. Мне потом в институт.

Свен закрыл за нами дверь квартиры. Спускаясь по лестнице, Юлия держала меня за руку. Выйдя из дома, она закинула за спину ранец, который до этого несла в другой руке, и взяла за руки родителей. Улица была почти пустой. Паула поманила меня к себе со свободной стороны и подхватила меня под руку.

Так мы и пошли к школе. Ни людей, ни машин почти не было. Только булочники уже работали, обслуживая первых покупателей. Ближе к школе нам стали попадаться другие ученики, которые тоже спешили на репетицию. Юлия громко здоровалась с ними, но ладони родителей не отпускала.

### 13

Потом наши встречи прекратились. Мне не хотелось видеть Свена и не хотелось попадаться ему на глаза. Следовало ли мне покаяться? Только как каяться, не выдавая Паулы? Следовало ли покаяться за нас обоих? Иногда меня пугала мысль о том, что станут известны его доносы о судье из социального суда, который симпатизировал ГДР. Моей карьере ничего не грозило. Но пришлось бы выслушивать дурацкие колкости от коллег и адвокатов. От этой мысли я приходил в ярость. Но еще более яростно в моем воображаемом суде велись процессы Паулы против Свена, меня против Паулы, Свена против меня и наоборот. Я выглядел на них не очень хорошо, причем тем хуже, чем больше оправданий находилось для Свена. Да, он пользовался мной, доносил на меня. Но ему было чего бояться. Он хотел спасти Паулу и спас ее. Что означает мелкое стукачество по сравнению со спасением жены? Правда, история Хайнца с Паулой тянула потяжелее, чем на мелкое стукачество. Но насколько тяжелее? Мне ли судить? И чем мне оправдать самого себя? Ведь Паула вовсе не хотела облегчить моей участи, наоборот, она хотела поглубже вовлечь меня в их семейные проблемы.

Однажды я увидел ее на концерте. Она сидела в партере, а я на балконе. То уверенное спокойствие, с которым она слушала музыку, а в антракте встала, вышла в фойе и после звонка вновь вернулась на место, разозлило меня. А еще разозлило то, что волосы у нее были распущены, и ее жест, которым она заправила за ушко выбившуюся прядь.

От Юлии я знал, что Свен и Паула остались вместе. Судя по ней, ничего особенного дома не произошло. Когда она навещала Ханса, то заглядывала ко мне, иногда вместе с ним, порою одна, а если бывало поздно, могла переночевать.

Ярость моя была нехорошей. Хорошая ярость нацелена против других. Ей нужна ясность, а не та неразбериха, которую мы натворили. В неразберихе ярость нацеливается не только на других, перепадает и тебе самому. Я страдал от собственной ярости. Но чаще просто тосковал. Мне не хватало детской, доверчивой улыбки Свена, его реплик во время совместных походов в театр или кино, не хватало серьезности и строгости, с которой вела Паула наши беседы, ее пылающего лица и сверкающих глаз, когда она начинала горячиться.

Все истории отношений между Западом и Востоком были историями любовными, с присущими им надеждами и разочарованиями. Их питало любопытство к чужому, к тому, что у другого было, а у тебя нет, или наоборот, поэтому другой становился интересен, даже не приложив к этому особенных усилий. Много ли было таких историй? Достаточно, чтобы с падением Берлинской стены для немцев наступила прямо-таки весна восточно-западного любовного любопытства. Только то, что раньше было чужим и далеким, разом стало близким, обыденным и докучным. Как черный волос любовницы, оставшийся в умывальнике, или ее громадный пес, который прежде был так забавен на совместных прогулках, но в общей квартире начинает действовать на нервы. Любопытным может остаться лишь то, как разобраться с неразберихой, которую учинили вместе, – если, конечно, не наступило безразличие друг к другу.

На свой десятый день рождения Юлия пригласила и меня. Родители дали ей полную

свободу в выборе гостей, а она сочла, что на празднике должны быть не только ровесники, но и взрослые. Надев первые очки, перейдя из начальной ступени в следующую и пережив размолвку родителей, она не по годам повзрослела.

Мы отправились в гости вместе с Хансом. Денек выдался погожим, и, когда мы вышли из метро на улицу, где жили Свен с Паулой, солнце засияло на фасадах, которые во время моего последнего визита сюда еще были обшарпанными и серыми, а теперь выглядели светлыми и свежими. Появились новые дорожки для велосипедистов и пешеходов, новый магазинчик с копировальной техникой, новое туристическое агентство, а на углу открылся африканский ресторанчик. Напротив, на детской игровой площадке красовались новые аттракционы, новые скамейки и зеленый газон. Прошлое ушло в отставку.

Мы поднялись по лестнице, позвонили. Дверь открыл Свен. Он распростер руки, будто собирался обнять меня. Но оказалось, это был все тот же жест сожаления и безнадежности, хорошо мне знакомый.

– Кофе закончился. Горячего шоколада хочешь?

В гостиной стол был раздвинут и празднично накрыт. Среди гостей были родители Свена, любимая учительница Юлии из начальных классов, сосед с двумя детьми, одноклассники. Из Западного Берлина, кроме меня и Ханса, пришел еще один славист, коллега Свена по Свободному университету. Дети носились по гостиной, коридорам и детской. Взрослые собрались на балконе, не зная, о чем завести беседу. Славист начал бранить Восток и Запад за то, что все произошло то ли чересчур быстро, то ли чересчур медленно, то ли потребовало лишних жертв, то ли принесенных жертв оказалось недостаточно. Но никто не хотел с ним спорить. Остальные предпочли расхваливать Юлию за то, как она повзрослела, стала подтянутой, рассудительной, отзывчивой.

Когда все уселись за стол, Юлия поднялась с места. Свен вопросительно взглянул на Паулу, та лишь пожала плечами. Юлия произнесла речь. Она поблагодарила за подарки, за то, что все откликнулись на приглашение, юные и взрослые, с Востока и Запада. К сожалению, мол, сейчас не получается встречаться так же часто, как раньше, прежде у людей было больше времени друг для друга. Теперь я вопросительно посмотрел на Паулу.

– Да, – заключила Юлия серьезно и решительно, – все распалось бы, если бы не мы, женщины.

Паула стиснула губы, но глаза ее рассмеялись. Свен потупился. Юлия закончила речь, кто-то захлопал, остальные подхватили, Ханс громко засмеялся, радуясь за Юлию, что дало Свену возможность поднять глаза и улыбнуться, за ним улыбнулась Паула, и мы с ней улыбнулись друг другу.

## **СЛАДКИЙ ГОРОШЕК** **Перевод В. Подминогина**

### 1

Когда Томас увидел, что революции не произошло, он вспомнил о том, что до 68-го изучал архитектуру. Он вновь взялся за учебу и завершил ее. Он специализировался на мансардах, выискивал подходящие крыши, находил клиентов, организовывал получение разрешений на строительство, решал вопросы надзора и планирования. Мансарды были в моде, а Томас знал свое дело. Через пару лет у него было больше крыш и клиентов на них, чем он мог потянуть. Но они наводили на него тоску. Как будто крыши – это все в жизни?

Однажды он натолкнулся в газете на объявление о тендере на проектирование моста через Шпрее. Еще ребенком его глубоко впечатляло то достоинство, с которым старый мост в Раштатте впенивал свои пилоны в русло Мурга, та гордость, с которой, пролет за пролетом, несет на себе стальные рельсы через Рейн железный мост в Кельне, та легкость, с которой парит над морем ажурная конструкция моста Золотые Ворота, и огромные лайнеры кажутся



совсем крохотными на его фоне. Книгу о мостах, которую ему подарили ко дню конфирмации, он захлеб читал и перечитывал ее, она стояла среди других книг в его офисе. Он создал проект моста, казавшегося настолько хрупким, что пешеходы должны бы были входить на него с опаской, а водители – автоматически снижать скорость и ехать осторожно. Почему все думают, что можно просто так взять и перейти с одного берега на другой, и считают это само собой разумеющимся?

К удивлению всех и его собственному проект занял второе место. Кроме того, ему предложили принять участие в тендере на проектирование моста через Везер. Однако продолжать строить мансарды, проектировать мост через Везер, участвовать в других тендерах – это было уже чересчур. И он взял в партнеры Юту, которая проходила у него в фирме практику и только что получила диплом. Она строила мансарды, он – мосты. Они поженились, когда она ждала от него ребенка, и сразу же переехали в самую красивую мансарду, которую когда-либо строила их фирма; клиент, для которого она строилась, заболел и отказался от заказа.

С балкона открывался вид на Шпрее и Тиргартен, на рейхстаг и Бранденбургские ворота. Из садика на крыше они видели, как на западе садится солнце.

Затем и мосты перестали его по-настоящему радовать. Успех, оборот капитала, фирма, семья – все это разрасталось, но все же чего-то не хватало. Сначала он не понимал, чего же; он думал, что ему не хватает профессионального куража, и работал еще больше. Но неудовлетворенность усугублялась. Лишь летом, находясь в отпуске в Италии, когда он не проектировал, как обычно, мосты, а начал мосты рисовать, мосты, которые ему встречались и нравились, он понял, чего же ему недоставало: рисования. В школе и будучи студентом он рисовал и думал, что радость, которую он испытывал от рисования, не исчезнет и при создании архитектурных проектов. И некоторое время он ее ощущал. Но постепенно это чувство утратил.

И вдруг мир вновь обрел гармонию. Так как архитектура не стала для него всем, он мог заниматься ею играючи. Благодаря тому, что он уже был известным архитектором, он не стремился завоевать известность как художник. Его не интересовали мода и повсюду обсуждаемые направления в живописи, он рисовал то, что хотел запечатлеть на своих картинах: мосты, воду, женщин, взгляды из окон.

## 2

Однажды он случайно познакомился с женщиной, занимавшейся в Гамбурге организацией художественных выставок, и она помогла ему стать известным. Они оказались рядом в салоне самолета, летевшего из Лейпцига в Гамбург. Она возвращалась домой из одного из своих филиалов, а он летел с одного строительства на другое. Он рассказал ей о своих картинах, а пару недель спустя принес ей некоторые полотна, сделал несколько набросков, о которых она попросила, и в один прекрасный день, совершенно ошарашенный и обрадованный, обнаружил свои картины на организованной ею выставке. Она вызвала его в Гамбург под тем предлогом, что хотела бы проконсультироваться относительно перестройки галереи. Но когда он приехал, то увидел свои картины, развешенные во всех залах галереи, готовой к вернисажу. Он приехал в четыре, в пять появились первые посетители, а к восьми уже было продано несколько полотен. В девять Вероника и Томас, опьяненные шампанским, успехом, друг другом, не дожидаясь закрытия вернисажа, поехали к ней домой. Утром он уже знал, что нашел женщину своей мечты.

Когда счастливый, утомленный бессонной ночью, он ехал на поезде в Берлин, то готовил себя к разговору с Ютой. Этот разговор будет непростым. Они женаты уже двенадцать лет, пережили вместе хорошие и плохие дни, заботились о трех детях, у жены была тяжелая беременность, когда должна была родиться дочь, они вместе прошли трудный путь к удачной карьере, пережили и супружеские измены, одну ее и две его. Ему казалось, что они срослись друг с другом, она стала частью его, а он – ее. Они были абсолютно

откровенны друг с другом, оба понимали, что мир изменчив, меняются обстоятельства, а с ними и люди. Дети, конечно, тяжело переживут развод родителей, то, что отец ушел из семьи, что в его жизни появилась другая женщина. Но он верил, что Юта останется корректной, а Вероника выберет правильную линию поведения и верный тон в общении с детьми. Она – просто чудо.

А в Берлине творилось такое! В мансардах на Ансбахер-штрассе, где они сейчас вели строительство, ночью вспыхнул пожар. Дочь заболела. Домработница, она же гувернантка, уехала на две недели к родне в Польшу. И когда в десять вечера Томас и Юта сидели на кухне и ели пиццу, то буквально засыпали от усталости.

– Я хочу тебе кое-что сказать, – тронул он ее за руку, когда она встала из-за стола и намеревалась идти в спальню.

– Да?

– Я познакомился с женщиной. То есть... я имею в виду, влюбился в одну женщину.

Она посмотрела на него. Лицо ее было непроницаемым. Или усталым? Затем она улыбнулась и быстро поцеловала его.

– Да, дорогой. Последний раз это было четыре года назад. – Она начала подсчитывать. – А предпоследний раз – восемь. – На какой-то момент она запнулась, глядя в пол. Он не знал, хочет ли она что-то добавить или ждет его ответа. Она сказала: – Закрой, пожалуйста, окно в комнате у Регулы.

Он кивнул. У дочери до сих пор держалась высокая температура. Когда он укрыл девочку и послушал, как она дышит во сне, Юта уже легла в постель. Ему показалось ребячеством решение спать на кушетке в гостиной. Он разделся и лег на свою половину кровати. Юта, уже засыпая, прильнула к нему.

– Она тоже брюнетка, как и я?

– Да.

– Расскажи мне о ней завтра.

### 3

Вероника не торопила его. Она понимала, что пока болеет Регула, для решения вопроса о разводе с Ютой время не самое подходящее. Пока домработница была в Польше. Пока Юта разбиралась с последствиями пожара и на шее у нее висели двое новых сотрудников фирмы, которых надо было ввести в курс дел. Пока он корпел над проектом моста через Гудзон, ей и самой хватало хлопот с галереей в Гамбурге и двумя филиалами в Лейпциге и Брюсселе, да и не такой она была женщиной, возле которой постоянно должен находиться мужчина. Разве не достаточно было того, что брак Юты и Томаса стал лишь пустой формальностью, сохранялся ради фирмы и детей, а настоящей жизнью он жил только с нею. Проводил у нее каждую свободную минуту. Свой отпуск во время школьных каникул он разделил на две части. Неделю катался на лыжах с Ютой и детьми, на неделю полетел из Мюнхена во Флориду, где у Вероники была квартира. Летом он совершил с сыновьями велосипедный тур, а затем две недели путешествовал пешком вместе с Вероникой по Пелопоннесу. На Рождество в Святой вечер и в первый рождественский день он был дома с семьей, а перед Новым годом и в Новый год – в Гамбурге. Вероника устроила ему в своей огромной квартире мастерскую, где он рисовал. Семья с пониманием относилась к тому, что ему необходимо уединение и он уезжает куда-то рисовать, даже если он и не рассказывал никому, куда именно.

И вновь пришла весна, потом лето, осень и зима – прошел год. 15-го января стукнул год с того вернисажа, и Вероника устроила вторую выставку его картин. И снова на следующее утро он ехал на поезде в Берлин, правда, уже не такой обессиленный, как год назад, и совсем не такой счастливый. Однако все же он был счастлив. Хотя и не считал правильным то, что ведет двойную жизнь. Ведь так жить нельзя. Нельзя так обходиться с женщинами. Нельзя быть «неполным» отцом своим детям, быть отцом только наполовину, всегда готовым

сорваться и уехать. А что произойдет, если Вероника станет матерью? Она-то ему ничего не говорила, но он заметил, что она больше не предохраняется. Он твердо решил поговорить с Ютой. Но дома было все как обычно, и не было оснований сейчас, именно сейчас, заводить речь о разводе. Когда вечером они сидели за круглым столом и ужинали, он понял, что не хочет терять свою семью. Оба сына немножко сорванцы, но ведь славные ребята, открытые и отзывчивые, дочка – его белокурый ангел, и Юта, сердечная, великодушная, энергичная и всегда привлекательная – он любил их. Почему же он должен их бросить?

На второй год их сожителства у Вероники родилась дочь. Он присутствовал при родах, навещал, когда разрешали, ждал возвращения и рисовал, живя в ее квартире, пока не забрал их с Кларой из клиники. Тогда он на две недели попрощался с Берлином, а когда они пролетели, квартира в Гамбурге уже стала для него родным домом. Вторым родным домом, так как берлинская квартира не переставала им быть. Но здесь, в Гамбурге, не было его большой семьи, а там не было Вероники.

Все усложнилось. Вероника нуждалась в нем. Она стала капризной, с трудом скрывала раздражение, это бесило его, она относилась к нему как к любящему, но недостаточно надежному и абсолютно эгоистичному человеку, последнему статисту в разыгрываемом спектакле, что он воспринимал как оскорбление.

– Я не знаю, как я со всем этим справлюсь, – кричала она, – не могу же я доказывать тебе, что со мной легче и лучше, чем с твоей женой.

Потом она плакала:

– Я понимаю, я сейчас невыносима. Но я не была бы такой, если бы мы наконец были вместе по-настоящему. Я никогда не давила на тебя, но сейчас я делаю это. Во имя себя и во имя нашей дочери. Сейчас, когда она маленькая, ты ей особенно нужен, а твои дети в Берлине уже большие.

А дома в Берлине давила Юта. Они не прекращали спать в одной постели как до, так и после рождения Клары. Он был нежным и страстным, как в старые добрые времена. Когда, обессиленные и удовлетворенные, они лежали рядом, Юта строила планы относительно нью-йоркского проекта. А не построить ли ему мост через Гудзон самому? Впервые в жизни самому руководить строительством моста? Может быть, на два-три года, пока строится мост, всем вместе переехать в Нью-Йорк? Отдать там детей в школу? Снять одну из прекрасных квартир на Парк-авеню, которые они видели во время своего последнего путешествия? Все это Юта выдавала как бы невзначай. Но она была сыта по горло нынешним положением вещей и желала это прекратить. Он все понимал и раздражался еще больше.

Осенью его терпению пришел конец. С одним своим старым, еще школьным, а потом и университетским товарищем он отправился в многодневный поход по Вогезам. Листва была яркой, солнце грело по-летнему, и после многодневных дождей земля пахла тяжело и пряно. Их маршрут проходил по горным тропам вдоль старой немецко-французской границы. Вечером они находили какую-нибудь сельскую гостиницу или спускались в деревушку. На второй вечер они встретили в одной из гостиниц двух девушек из Германии, студенток, одна из которых изучала искусствоведение, другая – стоматологию. На третий день они вновь случайно встретились. Вместе им было весело, беззаботно и очень приятно, и то, что он в конце концов оставался с одной из них в их номере, тогда как его друг повел вторую к себе, вышло как бы само собой. Хельга была простенькой блондинкой, в ней не было ничего от изысканной и обостренно-нервной элегантности и энергии, которыми отличались и Юта, и Вероника. У нее было роскошное тело, она знала, как получить удовольствие и как дарить его, была столь женственной и манящей, что все его проблемы и заботы показались ничтожными.

На следующий день они уже путешествовали вчетвером. Девушки через день возвращались домой в Кассель. Выяснилось, что зимний семестр они проведут в Берлине. Хельга дала ему свой адрес. «Позвонишь?» Он кивнул. И когда в ноябре ему все надоело и он уже не мог, ну не мог больше слушать ни предложений Юты, ни упреков Вероники, в Гамбурге у него комом стоял в горле сладковатый младенческий запах, а в Берлине

выводили из себя крики вступивших в возраст полового созревания сыновей, когда в фирме было невпроворот дел, а для рисования не хватало времени и он чувствовал себя не в своей тарелке и ненавидел самого себя, – вот тогда он позвонил Хельге.

Уже от нее он дважды позвонил и оба раза сказал, что ему срочно нужно слетать в Лейпциг, и она с усмешкой спросила у него:

– У тебя что, две жены?

#### 4

Без Хельги ему было бы совсем тяжело. Она не задавала лишних вопросов и вообще говорила немного, была такой красивой и мягкой, радовала его в постели, радовалась их совместным поездкам и обедам, расцветала от его подарков. Он был счастлив, что она у него есть, и потому баловал ее. И когда ему становилось невмоготу от навалившихся проблем, она была здесь, рядом с ним.

И продолжалось это до тех пор, пока не пришла пора сдавать выпускной экзамен. Ей понадобился пациент, она попросила его помочь, он не смог отказать и согласился стать ее пациентом. Он уже приготовился ради нее терпеть болезненные уколы, эту жуткую бормашину, ужасные пломбы и кривые коронки. Но в действительности терпеть пришлось совсем другое. Все было четко отлажено, ни боли, ни мук. Скорее, наоборот. Каждый шаг Хельги контролировался врачом-ассистентом, а если и у того возникали сомнения или трудности, на помощь приходил главврач. Нигде не было сбоев. Да и само ожидание врача не было таким уж неприятным. Кроме Хельги, была и другая студентка, которая ей помогала, а потом они менялись, разговаривали и шутили с ним, и когда Хельга наклонялась над ним, то грудью касалась его лица. Но все это длилось целую вечность. Он проводил в стоматологической клинике часы, иногда целые дни. Если ему назначали прийти в девять утра, срывались все деловые встречи до обеда, а если он приходил в два, то до пяти еще сидел в клинике и не мог ни с кем встретиться, съездить на стройку или получить необходимое разрешение. Приходилось сдвигать деловые встречи на вечер и работать в выходные дни. Искусно выстроенное здание, состоявшее из его берлинской и гамбургской жизней, зашаталось.

Он понял, во что втравил себя или, вернее, во что Хельга втравила его. И он решил с пройденными наполовину каналами, лишь наполовину готовыми пломбами и коронками пойти к своему зубному врачу и решить все проблемы в течение двух часов. Когда он об этом сказал Хельге, в ответ получил холодную ярость. Если он оставит ее сейчас на произвол судьбы, сказала она, то пусть забудет к ней дорогу. Да, она пока еще не знает, как отомстит ему за угробленный выпускной экзамен, но ничего, она придумает что-нибудь, чего ему вовек не забыть. Нет, ответил Томас, он не хотел гробить ее экзамен, просто не представлял себе, что если перестанет ходить в клинику, то тем самым поставит ее под удар. Поэтому он готов продолжать. А та тяжелая артиллерия, которую она применила, ни к чему. Но он извлек из этого урок, понял, что за манящей женственностью Хельги скрывается твердость и решительность.

Она блестяще сдала выпускные экзамены и посвятила его в свой проект создания частной стоматологической клиники. Готовиться к этому она начнет уже в ближайшее время, работая врачом-ассистентом. Не хочет ли он принять в этом участие? Помочь ей с архитектурным проектом и строительством? Как компаньон вместе с ней добиться успеха и насладиться им?

– А кому нужна частная стоматологическая клиника?

– А кому нужны твои мансарды? Или твои мосты? Или твои картины? – Она посмотрела на него с вызовом, как бы спрашивая: а кому нужен ты?

Поначалу он оторопел, потом рассмеялся. Да, она настоящий боец! Когда будем оформлять все бумаги на строительство и договор долевого участия, надо смотреть в оба, чтобы она его не облапошила.

Она поняла, что его вопрос насчет клиники не был принципиальным, и терпеливо начала объяснять ему преимущества собственной стоматологической клиники по сравнению с практикой в государственной клинике.

– Ты никогда не думал над тем, почему твой врач-терапевт часто давал тебе направление в клинику, но твой стоматолог никогда не посылал тебя в стоматологическую клинику. Но ты стареешь, и если даже твой стоматолог худо-бедно может делать все, то, пользуясь услугами отдельно хирурга, отдельно протезиста, отдельно пародонтиста, ты получаешь в итоге совсем другое качество.

Вот так-то. Сначала: а кому нужен ты, а потом: ты стареешь. Томас находил, что, давая, но больше получая, она могла бы вести себя полюбезней.

Она догадалась о том, что он думает. И сразу же: какое счастье, что у нее есть он, единственный в ее жизни. Что она восхищается им как архитектором и художником. А какой он мужчина! Только с ним она чувствует себя настоящей женщиной.

И уже ничего не нужно.

## 5

Лето было наполнено движением. Город яростно взметнул в небо краны, копал траншеи. На глазах росли дома. Энергия, витавшая в воздухе, находила разрядку в бесчисленных грозах. Дни стояли жаркие, к обеду набегали тучи, а к вечеру небо темнело, поднимался ветер, и под аккомпанемент пульсирующих молний и громовых раскатов падали на землю первые тяжелые капли. Ливень бушевал минут двадцать, иногда полчаса или чуть больше. Потом город долго благоухал мокрой пылью и дождем, затихал на время, пока люди, которых гроза загнала под крышу, к вечеру не выходили на улицы. На короткое время небо прояснялось, последние солнечные лучи, яркие сумерки между грозовой тьмой и темной ночью.

Томас чувствовал себя бодрым, каким-то гибким и легким. Он успевал все: планировать строительство моста через Гудзон, рисовать серию картин, работать над проектом частной стоматологической клиники, следить за состоянием дел в фирме. Он планировал прожить два-три совместных года в Нью-Йорке с Ютой, совместную жизнь с Вероникой после развода с Ютой, а вместе с Хельгой хотел обрести то, что называл про себя наслаждением от «достигнутого ими совместного успеха». Он наслаждался тем неповторимым чувством, которое испытывает жонглер, подбрасывающий все больше и больше колец, номер идет как по маслу, а число колец все увеличивается и увеличивается.

А как у жонглера с чувством страха? Растет ли с каждым последующим кольцом? Знает ли он, что номер не всегда может закончиться успешно, что можно сорваться, запутаться, провалиться? Знает или нет? Или ему все равно? В легкости этого лета Томас увидел для себя возможность так же легко покончить с игрой, которую он вел. Осторожно откладывая в сторону одно кольцо за другим.

По-дружески объяснить Хельге, что все прошло, он остается ее другом и как друг будет охотно ей помогать, но из их совместной затеи строительства клиники и его участия в нем ничего не получится. Спокойно поговорить с Вероникой о том, что будет, если они расстанутся. Алименты, его контакты с Кларой, ее забота о его мастерской. Она умела вести дела, настоящая бизнес-леди, и была заинтересована в продаже его картин на роскошных вернисажах ничуть не меньше, чем он – в контактах с дочерью. Объяснить Юте, что пятнадцать лет – это достаточно, пусть они останутся родителями в глазах детей и партнерами в фирме, но в остальном пусть каждый идет своей дорогой. Не трудно же снять с шеста пару колец, одно или другое, или все сразу.

В августе ему исполнялось сорок девять. Каждая из трех его женщин хотела отпраздновать эту дату вместе с ним. Убежать от двух женщин, чтобы остаться с третьей, – тут ему было не занимать опыта. Равно как и сбежать от всех трех.

Этот день он провел один, было такое чувство, как будто прогуливаешь уроки. Он

поехал на озеро на окраине города, искупался, позагорал, выпил красного вина, подремал, еще раз искупался. К вечеру нашел на другом конце озера ресторан с террасой. Поел, снова выпил красного вина, любовался закатом. Он был в ладах с самим собой, в ладах со всем миром.

Что это было? Красное вино? Прекрасный день и чудесный вечер? Успешная карьера и счастье с женщинами? У него есть еще год, потом стукнет пятьдесят и пора будет подводить итоги. Но вряд ли до этого что-то допишется в книге его жизни. Вот уж скоро тридцать лет, как он решил, что этот мир необходимо сделать лучше и справедливее. Потому что на Земле всем хватит хлеба, а также роз, миртовых кустов, красоты, радости и стручков сладкого горошка. Эти сладкие стручки, воспетые Гейне, тогда как-то особенно запали в душу, больше, чем коммунистическое общество Маркса, хотя он не имел ни малейшего представления о том, как эти стручки выглядят, каковы на вкус и чем отличаются от нормального гороха. Но и о том, как будет выглядеть коммунистическое общество, каково оно будет на вкус и чем будет отличаться от нормального общества, он тоже не имел ни малейшего представления. Да, сладкого горошка для всех, когда будут лопаться от спелости созревшие стручки! Может, еще раз кинуться в политику? Поработать у зеленых, где были друзья его молодости? А может, у социал-демократов, где подвизаются его нынешние друзья? Все они звали его, приглашали заняться политической деятельностью. Западный и Восточный Берлин, объединенные административно, должны стать единым целым – политическим и архитектурным. Одного без другого не бывает, и для этого нужны такие личности, как он. Мужчины. В политике он охотнее встречался бы с женщинами. Этакая политическая эмансипе, очки в никелированной оправе и узел рыжих волос на затылке. И когда этот узел рассыпается, волосы роскошной волной падают на плечи, а глаза без очков глядят удивленно и соблазнительно.

Он рассмеялся. Да, сейчас это было красное вино. Но только ли оно? Не крылась ли в этом красном вине та глубокая истина, которая открывается только тому, кто открыт этой истине. Мудрость сладкого горошка. Нужно быть счастливым самому, чтобы сделать счастливыми других. Нужно, чтобы у тебя все шло хорошо, тогда ты станешь радоваться и способствовать тому, чтобы и у других все было хорошо. И даже если сделаешь счастливым только себя – каждая крупинка счастья, которая приходит в мир, делает мир счастливее, каждая новая частичка счастья, своего или чужого. Только никого нельзя обижать. Он никого не обижал.

Томас сидел на террасе. Светила луна, и ночь была светла. Ах, как это хорошо иметь право быть довольным миром и самим собой.

## 6

Осенью ему надо было лететь в Нью-Йорк. Переговоры с консорциумом, осуществлявшим строительство моста, тянулись месяцами, а сам тон этих переговоров был для него непереносимым. Наигранная доверительность с обращением по имени, наигранная доверительность в разговорах о семье, детях, поездках на уик-энд за город, наигранная сердечность приветствий по утрам, – все это ему опостылело. Опостылело то, что устные договоренности, достигнутые вчера, в сегодняшнем письменном проекте договора бывали отражены лишь наполовину, а относительно другой половины нужно было начинать переговоры заново. Кроме того, когда рабочий день в Нью-Йорке заканчивался, в Токио он только начинался, и все заново приходилось обсуждать до утра с токийским партнером.

И однажды все застопорилось. В Нью-Джерси возникли политические проблемы, которые мог разрешить только лично губернатор штата. Когда стало очевидно, что справиться с ними за день он не сможет, Томас решил, что ему нечего сидеть вместе с другими и ждать. И он ушел.

Он слонялся по городу, шатался по парку, заглянул в музей, не обминул и тех домов, в которых так хотела жить Юта, пересек квартал, где звучала только испанская речь, и наконец

напротив какой-то большой церкви наткнулся на кафе, где ему очень понравилось. Оно было не из разряда тех шикарных кафе с быстрым и безукоризненным обслуживанием, где быстро и корректно подают счет, ты платишь и сразу же уходишь. Здесь посетители сидели, читали, что-то писали и беседовали, как в каком-нибудь кафе в Вене. Все столики на террасе были заняты, и он зашел внутрь.

По дороге он купил три почтовые открытки. Первую написал Хельге. «Дорогая, в городе жарко и шумно, и я не понимаю, что люди в нем находят. Мне осточертели переговоры, осточертели американцы и японцы, осточертела моя жизнь. Я тоскую по картинам, а больше всего я тоскую по тебе. Когда я вернусь, мы все начнем заново, правда?» Он написал, что любит ее, и подписался. Он представил себе Хельгу, красивую, мягкую, и в то же время твердую, расчетливую и предсказуемую, то холодную, то жаждущую любви и готовую дарить ее. Ах, эти ночи с Хельгой! «Дорогая Вероника, – писал он в следующей открытке. Остановился, не зная, что писать дальше. В последнюю встречу они расстались со скандалом. Она несправедливо обидела его, но он знал, что она сделала это от отчаяния. Потом она стояла на пороге и кричала ему вслед, чтобы он убирался к черту, еще и еще раз, и ждала, что он вернется, обнимет ее и прошепчет ей в ухо, что все образуется. – Когда я вернусь, мы все начнем заново, правда? Я тоскую по тебе. Я тоскую и по картинам, но больше всего по тебе. Мне осточертела такая жизнь. Мне осточертели переговоры, американцы и японцы. Мне осточертел этот город. В нем жарко и шумно, и я не понимаю, что люди в нем находят. Я люблю тебя. Томас». Долго сидел он перед третьей открыткой. На ней тоже был изображен Бруклинский мост в лучах заходящего солнца. «Дорогая Юта! Ты еще помнишь этот город весной? Сейчас в нем жарко и шумно, и я не понимаю, что люди в нем находят. Переговоры и американцы с японцами, с которыми я их веду, мне до смерти осточертели. Мне осточертела моя жизнь и то, что в ней нет больше места моим картинам и что тебя в ней тоже нет. Я люблю тебя, и мне страшно тебя не хватает. Когда я вернусь, мы все начнем заново, правда?» Он знал, как она будет улыбаться, читая эту открытку, удивленно, счастливо и немножко скептически. В эту улыбку он влюбился двадцать лет тому назад, и она и сейчас восхищала его. Он наклеил на открытки марки, оставил пиджак на спинке стула, а газету на столике, пошел к почтовому ящику на другой стороне улицы и бросил туда открытки.

Он возвратился за столик, наблюдал через окно кафе за уличной суетой. Окно было открыто, он мог бы при желании крикнуть что-нибудь прохожим или заговорить с ними. И отделяли их друг от друга лишь каких-то несколько метров. И наоборот, они, сделав лишь несколько шагов, могли зайти в кафе, сесть, как и он, за столик, может быть, даже напротив него или рядом с ним. И вот один свернул с тротуара в кафе, заказал у стойки печенье и кофе, назвал свое имя, вытащил книгу, бумагу и ручку, кивком позвал официантку, когда она, неся заказ на подносе, громко выкрикала, который тут Том. Его тоже звали Том.

Он опять взглянул на улицу. Тротуар был полон людей... Что делали все эти люди? Вот идут двое, тесно обнявшись, целуясь и глядя в глаза друг другу, вот папа, мама и ребенок тащат сумки, набитые покупками, вот одетый в какие-то обноски негр, попрошайничает, постоянно попадая в поле его зрения, вот бредущие не спеша туристы, а вот школьники и какой-то мужчина в коричневых брюках и куртке, подает посылки в машину Юнайтед Парсел. Что они все делают и зачем они все это делают? Зачем эта девушка, такая милая и хорошенькая, обнимает этого наглого прыщавого придурка? Зачем родители родили этого визгливого мучителя, воспитывают его, покупают ему игрушки? Папочка, похоже, какой-то ученый неудачник, который много мнит о себе, а ей и забот с ребенком слишком много. Чего ждет этот попрошайка и почему он вообще решил, что может чего-то ждать? Кого это интересует? Кому будет не хватать этих беспричинно веселых туристов, если даже они провалятся в тартарары? А кому – этих школьников, если б даже они сейчас взяли и все умерли? Родителям? Не все ли равно, будет ли не хватать родителям сегодня их, а завтра – их внуков? Трагедия – умереть молодым? Томасу казалось, что умереть слишком рано не менее трагично, чем умереть слишком поздно, равно как и

умереть, не успев родиться.

Мужчина, подававший посылки в машину, вдруг споткнулся и упал вместе с коробкой, которую нес, на тротуар. Почему он ругается? Если смерть – это так плохо, пусть радуется, что жив, а если смерть прекрасна, то для него перед лицом вечности миг его падения – ничто. Мимо Томаса прошла красивая пара. Стройные, энергичные, радостные, с умными живыми лицами. Он не был наглым прыщавым придурком, а она не казалась просто симпатичной милой дурочкой. Но от этого лучше не становилось. Вопрос не в том, чтобы вся эта суетность и ничтожность были зримыми и осязаемыми. Томас видел их там, где они были едва различимы. Он видел суетность всюду.

Он спрашивал себя: если бы у него было оружие, смог бы он перестрелять всех этих прохожих, как его сыновья расстреливают врагов в компьютерных играх? Возникли бы проблемы, а он не хотел никаких проблем. Но ближе, реальнее и живее, чем фигуры на мониторе компьютера, эти прохожие, наблюдаемые им из окна кафе, не становились. Да, они люди, как и он. Но от этого не становились ему ближе.

## 7

Когда позднее он вспомнил об этом дне, то понял, что именно в этот день и в этом месте началось его падение. С этого дня он падал стремительно, как человек на картине Макса Бекмана, что висела в квартире президента строительного консорциума. Он падал, кувыркаясь, абсолютно беспомощный, несмотря на силу в мускулистом теле и сильные руки, вскинутые как бы для заплыва. Он падал между горящими домами, его горящими домами, домами, построенными им, и домами, в которых он жил. Он падал среди птиц, которые презрительно насмеялись над ним, и ангелов, которые могли спасти его, но не спасали, среди лодок, уверенно плавающих в небе, и он мог бы так же уверенно плыть в небе, если бы не связался с домами.

Он вернулся домой и вновь зажил своей жизнью. Берлинской жизнью с семьей, фирмой и друзьями, для которых он был мужем Юты, отцом ее троих детей, архитектором и художником-любителем. С ними и их семьями его связывали давние отношения. Вместе ездили в отпуск, проходили через семейные неурядицы и проблемы с детьми. Он чувствовал себя среди них как рыба в воде, уверенный во взаимном доверии, хотя сам не очень-то стремился к нему, поскольку их объединял только совместный багаж воспоминаний, анекдотов, шуток. С гамбургскими друзьями все обстояло иначе. Да, у него были друзья из Гамбурге, хотя и не так много, как в Берлине; их связывала не профессия, это были знакомые Вероники. Большинство было неженатыми или незамужними, у кого-то был ребенок. Для них он был художником, с которым у Вероники контракт и ребенок, приятным в общении, но имевшим еще и другую жизнь и поэтому для них чужим. С лучшей подругой Вероники, врачом-педиатром, у него сложились сердечные и доверительные отношения, но и здесь его другая жизнь оставалась в тени. Его вторая берлинская жизнь опять-таки выглядела иначе. Как и сама Хельга, ее друзья были почти на двадцать лет моложе его. Главной их заботой было завершить образование и сделать карьеру. У них не было четкого мировоззрения, они были открыты для многих вещей, открыты и для друга Хельги, который был постарше, человека разностороннего и щедрого, всегда готового дать умный и доброжелательный совет, например, как организовать врачебную практику или купить квартиру. Они радовались, когда он приходил вместе с Хельгой или присутствовал на устраиваемых ею вечеринках. Но контакты между ними ни к чему не обязывали, такими они, возможно, были и внутри их круга.

Однако несмотря на эту необязательность и ту дистанцию, которая отделяла его от гамбургцев, а если уж быть честным до конца, то и от старых берлинских друзей, общаться с ними стало для него тяжело. Он не знал почему; еще летом это было легко. У него было такое чувство, что всякий раз ему нужно изобретать какого-то нового Томаса, отдельно для Хельги, для Вероники и для Юты, Томаса-архитектора и Томаса-художника, Томаса-отца



троих детей-подростков и Томаса-отца годовалой малышки, которого вполне можно принять за ее дедушку. Иногда подступал страх, что он не сможет быстро и полностью перевоплотиться, и в Гамбурге еще останется берлинским Томасом или у Хельги – Томасом Юты. После того, как однажды поздно вечером, устав и изрядно выпив, он поведал одному из друзей Вероники, как он представляет жизнь в Нью-Йорке немецкой семье с детьми-школьниками, а в разговоре с одной супружеской парой, их с Ютой давними друзьями, обстоятельно коснулся проблем матерей-одиночек, подвизающихся в выставочном бизнесе, он стал осторожнее со спиртным. У него вошло в привычку при такой смене ролей концентрироваться и брать себя в руки, как он делал это перед переговорами с деловыми партнерами, освобождать голову от всего лишнего и оставлять там только то, что понадобится в ближайший момент. Но и это требовало от него огромных усилий.

И сны его тоже стали тревожными. В них он действительно представлял себя жонглером, но работающим не с кольцами, а с тарелками, которые китайские жонглеры одну за другой кидают на острие шеста, или жонглером, работающим с ножами или горящими факелами. Сначала все шло хорошо, потом число тарелок, ножей или факелов возрастало, и он уже не мог справиться с ними. И в тот момент, когда они погребали его под своей тяжестью, он просыпался в холодном поту. Часто ему практически не удавалось заснуть.

Как-то утром в поезде из Гамбурга в Берлин он разговорился с соседом по купе. Тот оказался представителем фирмы, выпускавшей жалюзи. Он рассказал Томасу о жалюзи для дома, для офиса, деревянных и пластмассовых, жаро- и звуконепроницаемых, об истории их изобретения, их преимуществах по сравнению со шторами, рассказал также о своих поездках и своей семье. Это был милый, занятный и легкий разговор. Томас долгое время лишь внимательно слушал. Он в свою очередь поведал собеседнику о своем житье-бытье, семье, доме, куда и откуда едет. И вдруг с удивлением он услышал, что рассказывает о своей фирме в Цвиккау, выпускающей канцелярские товары, о проблемах, которые возникли в связи с переходом от работы за чертежной доской к работе на компьютере, о той борьбе, которую вела его семья за эту фирму в 50-х и после воссоединения страны. Рассказал и о своем доме у реки, о жене, прикованной к инвалидной коляске, о своих четырех дочерях. А сейчас он возвращается из Гамбурга, где закупал сандаловое дерево и кедр для партии карандашей серии «люкс». Иногда ему приходится ездить за деревом для карандашей даже в Бразилию и Бирму.

## 8

Он решил прекратить отношения с Вероникой. Всякий раз он приезжал в Гамбург с твердым решением, и когда дочка уже спала в кроватке, а они сидели в кухне, он намеревался сказать ей, что хочет назад к Юте, что он, как только она пожелает, готов поговорить об алиментах, контактах с дочерью, продаже его картин. Они сидели за столом в кухне, и Вероника была счастлива, что трудовой день закончился, он здесь, и у него язык не поворачивался сказать ей эти слова. Если же она выглядела несчастной, он тем более не мог произнести этого, так как не желал делать ее еще несчастнее. Он переносил разговор на утро. Но утро принадлежало дочери.

Он проговаривал про себя все, что только можно сказать в этой ситуации. Что следует прекратить эти отношения, ставшие невыносимыми. Что он, если уж не остается с нею, не намерен ее дольше удерживать, разрешает ей уйти и жить своей собственной жизнью. Что ужасный конец все равно лучше, чем ужас без конца. Или, может быть, все-таки он останется с нею? Нет, и морально, и физически он уже давно отдалился от нее и не сможет быть с нею дольше или когда-нибудь к ней вернуться. Нет, не было ничего, что извиняло бы его неспособность поговорить с нею. Он ощущал эту неспособность чисто физически, как будто в тот момент, когда он хотел что-то сказать, рот, язык и горло не подчинялись ему, как парализованная рука не может подняться и двигаться по приказу. Потом в берлинском поезде он сгорал от стыда.

Затем он решился на более легкий шаг перед трудным, чтобы потом, набравшись опыта, этот трудный все-таки сделать. Он решил порвать отношения с Хельгой. С ней он смог поговорить. Он объяснил, что хочет вернуться к своей жене, к своей семье. И хотя из их честолюбивых планов ничего не получится, он останется ее другом и как друг с удовольствием будет ей помогать. Ведь вместе им было так хорошо! Поэтому и расстаться надо тоже красиво.

Хельга его внимательно выслушала. Когда он закончил, она посмотрела на него своими большими глазами. Глаза ее повлажнели, слезы постепенно переполняли их, они текли по щекам, капали на платье. Потом, всхлипывая, она бросилась ему на грудь, он прижал ее к себе, почувствовал ее мягкое тело, хотел утешить ее, но она только качнула головой и приникла губами к его губам. На следующее утро за завтраком она рассказала ему о своих новых идеях по поводу стоматологической клиники. Ну что тут можно было сделать?

А с Ютой он и не пытался заговорить. Однажды он сидел напротив нее и представлял, что он ей скажет, как она прореагирует и как он тут же спустит паруса в знак капитуляции. Да, уже в самом начале разговора он выкинет белый флаг и будет радоваться, когда они помирятся и она прижмет его к груди. Его решимость сделать что-то была жалкой и тщетной, а постоянные метания туда-сюда – смешными. Он смеялся и все не мог остановиться, настоящая истерика, в конце концов Юта, не зная, как ему помочь, вlepила пару пощечин, которые и привели его в чувство.

Он удивлялся, сколько же при всем при том успевал сделать. Он пересмотрел план постройки моста через Гудзон и спроектировал новый мост через Дрину. Он написал серию картин; на всех были изображены женщины, которые гребли веслами на барже: стоя и сидя, в одежде и совсем обнаженные, хрупкие и обостренно нервные брюнетки, мягкие блондинки и крепко сбитые шатенки. Первые картины Вероника представила на выставке. Серия еще не была завершена, а какой-то коллекционер уже захотел купить ее всю. Как избавление грянул приступ аппендицита. Он ехал на машине из Дрездена в Мюнхен, когда начались боли. Что-то с желудком, подумал он, но потом стало ясно, что это другое, нечто худшее и более серьезное. Склонившись над баранкой, так как в таком положении легче переносилась боль, он, перепуганный насмерть, таки сумел доехать до окружной больницы за Гофом. И сразу попал на операционный стол. На следующее утро во время обхода врач рассказал ему, что, судя по симптомам, это вполне мог быть рак поджелудочной железы, и пусть радуется, что это был всего лишь острый аппендицит.

Томас пробыл в больнице неделю. Его сознание рисовало, как врач делает ему надрез, находит злокачественную опухоль поджелудочной железы или метастазы в желудке, зашивает его. Жить ему остается пару недель или месяцев. Он уже ни за что не отвечает, никому ничего не должен, все относятся к нему бережно и внимательно, восхищаются его мужеством. Он прощается с Хельгой, Вероникой и Ютой, им не в чем его упрекнуть, и ему не в чем упрекнуть самого себя. Он напишет еще одну картину, последнюю и самую пронзительную. Он проведет это время со своими детьми, им будет так хорошо вместе, что воспоминания об этом еще долго после его смерти будут освещать их жизнь. Он напишет эссе о мостах, и оно станет его архитектурным завещанием. Пару месяцев, больше ему не надо, чтобы покончить со всем этим и спокойно умереть. Умереть счастливым. Он завидовал тому человеку, которому осталось жить лишь пару месяцев, он считал его счастливым, освободившимся от всех мирских забот.

Почему он не может быть этим счастливым человеком? Он позвонил в Берлин и в Гамбург и сообщил о своей операции. Но эти звонки тоже великолепно вписывались в его версию-игру о том, что он якобы умрет через два месяца: сначала сообщить об аппендиците, чтобы никого не напугать, а потом осторожно выложить всю правду.

Он возвратился в Берлин и был таким же, как всегда, только чуть более спокойным и подавленным, держался с большим достоинством, иногда казался рассеянным, как человек с печатью смерти на челе. Потом он сказал им. Прошел через их испуг, настойчивые советы проконсультроваться у других врачей, беспомощное сочувствие. Каждая спрашивала его,

что он теперь будет делать, а он отвечал, что будет жить так, как жил раньше, что же еще? Делать главное и отставлять второстепенное. Писать картину. Писать эссе о мостах. Проводить время с детьми. И действительно, он натянул на раму новый холст, купил новую авторучку и строил с детьми планы на лето.

## 9

Нет, он не то чтобы и вправду уверовал в свой рак. Но однажды во время выходных, которые он проводил в Гамбурге, Вероника начала кричать на него, когда он после обеда остался сидеть за столом, вместо того чтобы мыть посуду. Он был возмущен. Как она, которая должна была думать, что у него рак, могла взвалить на него хозяйственные заботы? Кроме всего прочего, швы в самом деле причиняли ему боль; если бы ему разрезали живот, а потом вместе с аппендицитом и метастазами вновь зашили, то они болели бы ничуть не меньше. Да и чувствовал он себя ослабевшим и измотанным.

Нет, это было так несправедливо, то, как Вероника вела себя с ним, да и Юта с Хельгой могли бы быть повнимательнее. Юта, которая видела его сейчас больше времени, чем за все предыдущие годы, попросила его помочь сыновьям сделать уроки, забрать дочку из музыкальной школы, починить жалюзи и развесить белье. «Тебя же это не затруднит, правда?» Правда, Хельга, которая хотела, чтобы во время поездок и переговоров о подходящей недвижимости для стоматологической клиники он был под рукой, согласилась вести машину. Хотя он и подозревал, что делала она это не потому, чтобы облегчить ему поездку, а потому, что хотела поругать его БМВ. Когда же он решил провести с ней ночь, она покачала головой.

– А тебе это не повредит?

Он замечал, что становится нудным брюзгой, однако считал, что с ним поступают несправедливо. Он столько гробил себя ради этих трех женщин, а сейчас, когда его дела – дерьмо и он нуждается в них, они как ни в чем не бывало продолжают жить своей жизнью. Он сделал Юту равноправным партнером в бизнесе и делил с ней свои успехи, дал Веронике заработать на его картинах больше, чем обычно галереи зарабатывают на картинах, а Хельгу избаловал подарками, словно мелкий князек фаворитку. Тогда каждая мечтала быть с ним вместе как можно дольше. Когда он был с ними, он делал их счастливыми. Да и вообще все женщины жалуются, что у мужчин слишком мало времени для них, даже те, чьи мужчины не отвлекаются на других женщин. Нет, он сделал для них все, что мог, а они, они не отплатили ему так, как должны были бы. Они загнали его в тупик, выход из которого – только неизлечимая болезнь и смерть. Что ему делать эти пару недель или месяцев? Ему, вполне здоровому человеку? Они загнали его в угол.

Однажды он зашел к своему портному. Над дверью маленькой лавчонки, к которой вели вниз с улицы несколько ступенек, висела вывеска «Переделка готовой одежды», но хозяин, грек с большими усами, мог не только перекраивать и чинить готовое платье, но и шить великолепнейшие рубашки, костюмы, пальто. Томас регулярно заказывал у него длинные, до пят, ночные сорочки, каких не купишь ни в одном магазине. И вот, стоя в мастерской и желая заказать еще одну, он вдруг понял, насколько абсурдным был этот заказ. Шить для человека, которому жить-то осталось пару недель или месяцев.

Потом он увидел рулон черной шерсти с темно-синим отливом.

– Это материал для пальто или для куртки. Один клиент хотел заказать себе накидку, но потом передумал.

– Сошьете мне что-нибудь из него?

– А что бы вы хотели?

– Рясу, как у монахов, до пят, ну, как мои ночные сорочки, с капюшоном и глубокими карманами.

– На пуговицах? На подкладке? С поясом или с витым шнуром?

Томас задумался. Что, на монашеских рясах были пуговицы? Подкладка? Он решил,

что ему нужна ряса с подкладкой, петлями для шнура и без пуговиц. Надевать ее он будет через голову. Шнур будет темно-зеленый, также как канты и подкладка.

– Желаете, чтобы и... – грек изобразил рукой на груди крест, – был вышит тем же цветом?

Нет, Томас вообще не хотел никакого креста.

– Ну что же. Тогда я знаю все, что мне нужно знать.

– Сколько времени вам потребуется?

– Неделя.

Неделя.

– Мне некоторое время нужно побыть одному, – сказал он в один из последующих дней Юте, Веронике и Хельге. – Я еще не знаю, куда я хочу уехать, но знаю точно, что должен. Слишком много всего произошло. Мне надо вновь обрести себя.

Он думал, они начнут протестовать, будут удерживать его или захотят проводить. Но они просто приняли это к сведению. Юта лишь потребовала, чтобы он перенес отъезд на два дня и позаботился о том, чтобы пришли кровельщики и починили крышу. Вероника сказала, что тогда на следующей неделе она сможет приютить в его мастерской свою подругу. Хельга спросила, возьмет ли он машину или оставит ей.

Он купил легкий, длинный темный плащ. Упаковал в кожаную сумку пальто, пару прочных туфель, свитер, рубашку, белье, черные носки, джинсы, туалетные и бритвенные принадлежности. Он перенес отъезд на два дня, оставил Хельге свой БМВ и сдвинул в угол мастерской завершенные и неоконченные картины. Вместе с мольбертом и чистым холстом для своей последней и самой пронзительной картины. С кожаной сумкой и пластиковым пакетом он зашел на станции Тиргартен в туалет. Когда он вышел оттуда, на нем была монашеская ряса, а в пластиковом пакете лежали вещи, которые были на нем утром. Он выбросил пакет в контейнер для мусора, купил билет и сел в поезд.

## 10

Он путешествовал целый год. Остановился на пару недель в Парк-отеле Бреннера в Баден-Бадене, следующие провел в Бур-о-Лаке в Цюрихе. Персонал и гости поначалу удивленно рассматривали его, однако потом с удовольствием беседовали, проникаясь к нему доверием. Он выслушивал истории их жизни, истории боли и вины, любви и страданий, истории их браков, семьи, будней. Однажды среди ночи администратор гостиницы вызвал его к женщине, которая хотела повеситься, и лишь по чистой случайности горничная обнаружила ее и перерезала веревку. Он проговорил с ней до самого утра. Когда на следующий день она уезжала, то оставила ему для его монашеского ордена чек на круглую сумму.

Иногда он посылал открытки в Берлин и Гамбург, но не Юте, Веронике или Хельге, а детям. Хельга, когда он ей однажды позвонил, первым делом спросила, хочет ли он получить обратно свой БМВ, потом заговорила о платежах, которые он должен внести как компаньон. Он повесил трубку. Когда на его кредитной карточке ничего не осталось, он вдруг ощутил страх и снял со счета все деньги.

Но страх оказался напрасным. Когда он пресытился дорогими гостиницами, деньги стали ему вообще не нужны. Большею частью он бесплатно ночевал в монастырях, там же бесплатно получал пищу. Сначала он немного робел, рассказывая истории об ордене св. Фомы, пережившем в Трансильвании и Реформацию, и коммунистический режим; в ордене сегодня осталось шесть братьев, а сам он, потомок трансильванских саксонцев, вступил в него несколько лет тому назад. Но с каждым разом повествование становилось все увереннее, он позволял себе красочные детали и исчерпывающе отвечал на любые вопросы. Но чаще всего монахи вообще ничего не спрашивали. Они показывали ему его келью, кивали в знак приветствия в церкви и в трапезной, желали спокойной ночи. Когда и монастырская жизнь ему прискучила, он стал ночевать в небольших гостиницах и пансионах. Здесь, как и в

поездах, люди пытались завязать с ним разговор. Он никого не осуждал и не одобрял, никому не сочувствовал. Он внимательно слушал, и если его спрашивали, отвечал вопросом на вопрос.

– Что мне делать?

– А что вы хотите сделать?

– Я не знаю.

– А почему вы этого не знаете?

Однажды он чуть было не переспал с одной женщиной. Решив отдать рясу в химчистку, он зашел туда под вечер и попросил разрешения посидеть где-нибудь в уголке, пока заказ будет выполнен. Дело было в маленьком горном городке в Хунсрюке, уже стемнело, когда ряса была готова. Хозяйка закрыла заведение и опустила жалюзи. Потом она подошла к нему, приподняла халат, села верхом на его колено, обняла его голову руками и положила себе на грудь. «Цыпленочек мой», – сказала она печально и жалостливо, потому что он в своей белой растянутой футболке, в ставших широкими не по размеру джинсах и с им же самим плохо постриженными короткими волосами напоминал ей ощипанную курицу. Он остался у нее на ночь, но при этом они не были близки. Утром, когда он сидел за завтраком напротив нее в домашнем халате ее покойного мужа, она спросила, не останется ли он еще ненадолго.

– Тебе не нужно прятаться. Ты можешь надеть вещи моего мужа, а я скажу, что ты его брат и приехал навестить меня. Странно, что ты без рясы такой же, как и в ней...

Он знал об этом. Еще в начале своего путешествия он несколько часов подряд просидел в поезде напротив одного владельца строительной фирмы из Лейпцига, с которым имел частые контакты по делам своей фирмы, тот внимательно смотрел на него, но не узнал.

Он не хотел оставаться. Он улыбнулся ей кривой усмешкой, сожалея приподнял плечи.

– Мне надо двигаться дальше.

Он считал, что если останется, то должен будет спать с этой женщиной. А он этого не хотел. Еще несколько лет тому назад он бросил курить, вот так, сразу, и легко обходился без двух-трех пачек сигарет, которые раньше выкуривал за день; это заставило его задуматься о том, что есть много вещей, которыми человек вполне может поступиться. В качестве следующего шага нужно перестать употреблять алкоголь, забыть про любовь, затем про еду – все эти шаги казались ему легкими и вполне естественными, и, наконец, последнее, без чего можно было вполне обойтись, – это само его физическое существование. Когда он начал путешествовать в рясе, он вообще перестал пить, легко обходился без бутылки красного вина, а ведь выпивал до этого каждый вечер. Как человек в рясе, принявший обет воздержания, он сразу же сделал следующий шаг, и стал равнодушно относиться к пище.

Иногда ему казалось, что он парит в облаках, не касаясь ногами земли. Ему грезилось, что люди не могут воспринять его, что лица и тела, которые он видит, в действительности вовсе не живые люди, а схемы, конструкции, которые то выстраиваются, то вновь распадаются. Иногда он касался их, случайно или намеренно, и тогда знал, что они могут оказать сопротивление. Он не сомневался, что если их ранить, то раны будут кровоточить. Может, они будут кричать, а если рана окажется серьезной, то лежать, не двигаясь. Но двигаются они или нет, какое это имеет значение? Не все ли уже заполнено, даже переполнено этими движущимися конструкциями, этими схемами?

Его жизнь в Берлине и Гамбурге как раз и была такой схемой. Какое отношение имели к нему эти три женщины? Зачем он рисовал картины и строил мосты? Что это был за механизм, в котором он функционировал вместе с другими деталями? Механизм фирмы или механизм галереи, планов и проектов Хельги? А был ли смысл в детях? Что им делать в этом мире? Кто их сюда звал и кому они нужны?

На Комском озере он стал свидетелем, как маленький мальчик упал с причала в воду. Мальчик кричал, некоторое время бился в воде и начал тонуть. Вокруг не было никого, кто мог бы помочь ему. Когда Томас наконец встал со скамейки, на которой сидел, подбежал к причалу, прыгнул в воду, вытащил мальчика и тот вновь задышал, то сделал он это лишь

потому, что не хотел иметь неприятностей. Если бы кто-то видел, как он сидел и не встал, и доложил бы об этом в полицию, тогда прощай жизнь человека в монашеской рясе!

## 11

Оно так и так случилось. На пути из Комо в Турин он сделал пересадку в Милане. Двери поезда Милан – Турин автоматически захлопнулись как раз в тот момент, когда он хотел подняться в вагон. Он отступил назад и тут увидел, что подол рясы зажалось дверью. Он тщетно пытался вновь открыть дверь, дергал за рясу, бежал, дергая ее, за набирающим скорость поездом, и под конец вынужден был бежать так быстро, что уже и не пытался вытащить рясу, зажатую намертво. Он слышал смех пассажиров на перроне, которые не понимали трагичности ситуации и находили бегущего за поездом монаха в темно-синей рясе таким потешным. Когда он уже не мог бежать с поездом наравне, то отчаянно рванулся против хода поезда, надеясь, что ряса порвется. Но тяжелое сукно выдержало, и поезд протащил Томаса вдоль всего перрона, а потом и по гравию насыпи рядом с путями. Это продолжалось до тех пор, пока какой-то пассажир не высунулся из окна поезда и, увидев ужас на лицах стоящих на перроне и поняв, в чем дело, дернул стоп-кран. Поезд наконец-то остановился, а Томас к этому времени выглядел, как какой-то окровавленный тюк.

Его отвезли в больницу. Когда через несколько дней он пришел в сознание, врач сказал ему, что позвоночник поврежден и ниже уровня груди все парализовано. А в Турин-то Томас хотел поехать всего лишь затем, чтобы увидеть, сохранились ли там еще извозчицки пролетки и старые клячи, одну из которых обнимал когда-то сумасшедший Ницше.

В отделении интенсивной терапии все пациенты равны. Томаса перевели в обычное отделение, это был большой зал с шестьюдесятью больничными койками, построенный в 20-е годы как «аварийная» палата на случай каких-нибудь катастроф, сейчас тут лежали пациенты из низших слоев общества. Было шумно даже ночью. Солдаты, лежавшие в палате, были уже здоровы, но делали вид, что больны, потому что в больнице было лучше, чем в казарме, они пили, горланили и иногда приводили на ночь девок. Днем было жарко, воняло помоями, дезинфицирующими и чистящими средствами, экскрементами. От кровати Томаса исходил жуткий запах, он не мог контролировать свои естественные надобности. Монахини, которым принадлежала больница, пытались помочь «синему» монаху, но они не говорили по-немецки, а он – по-итальянски. Однажды какая-то монахиня принесла ему Библию на немецком языке. Он был поражен, сколько жизни было в этой книге. Но именно поэтому он не захотел прочесть ее всю.

Его раны затягивались. Через три недели он был уже не в состоянии переносить шум и вонь. Разве жизнь перед несчастным случаем не превратилась для него в схему и не стала ему безразличной? Тогда же куда-то затерялась его жизнь, да и он сам. Сейчас жизнь была с ним, настоящая и реальная – жизнь калеки в клоаке. Только то парение, которое он узнал до этого несчастного случая, стало реальностью. Ему тогда казалось, что он не касается земли ногами, так оно теперь и было: он действительно больше не касался земли ногами.

Через четыре недели без всякого предупреждения его увезли. Однажды перед кроватью появились несколько мужчин со складными носилками, его положили на них и понесли.

– Куда вы меня несете?

– Мы должны доставить вас в реабилитационную клинику недалеко от Берлина.

– Кто вас послал?

– Если уж вы этого не знаете – то нам шеф ничего не сказал. Но если вы не хотите, можем оставить вас здесь. – Они остановились. – Так хотите или нет?

Они стояли в дверях той палаты, где он пролежал почти месяц. Нет, здесь он не останется, пусть его везут куда угодно.

## 12

Два месяца он провел в реабилитационной клинике. Привыкал к неподвижной и бесчувственной части своего тела, учился контролировать испражнения, не допускать пролежней, осваивал тренажеры и инвалидную коляску. Много времени проводил в воде, сначала в бассейне, потом в озере, на берегу которого располагалась клиника. Учась, он достиг заметных успехов и решил, что у него хватит воли и дисциплины, чтобы все заново покорить: воду с помощью купаний в бассейне, землю – на инвалидной коляске, неподвижность искалеченного тела – силой своих рук. Но когда у него уже в третий раз появился нарыв, обычный для людей, постоянно передвигающихся на инвалидной коляске, он понял, что уже никогда не сможет положиться на свое тело.

Он узнал, что транспортировку из Милана в клинику организовал его домашний врач, старый друг. Медицинская страховка покрыла эти расходы, как и его содержание в клинике. Когда понадобились деньги, чтобы купить белье, рубашки, брюки, книги, проигрыватель для компакт-дисков и сами диски, он связался со своим банком. Выяснилось, что его счет закрыт. Но чуть ли не на завтра ему были переведены и выплачены несколько тысяч марок. Через шесть недель пребывания в клинике ему исполнился пятьдесят один год. Утром ему принесли букет – пятьдесят одну желтую розу. На приложенной карточке стояли три буквы «Т», торговый знак компании по переработке и реализации какой-то продукции, не известной ему. После обеда пришел его старый друг – врач.

– Хорошо выглядишь. Даже более загорелым и здоровым, чем в прошлый раз. Когда это было? Года полтора тому назад? Или весной, на твоём вернисаже? Во всяком случае, хорошо, что скоро ты опять будешь дома.

– Не представляю, как буду жить дальше. Юте я не хотел звонить, но придется. Мне ведь полагается пенсия по инвалидности, социальная жилплощадь и кто-то, кто будет ухаживать за мной, ну из этих, проходящих альтернативную службу.

– Я думаю, Юта уже об этом позаботилась. Она побеспокоится обо всем.

Они сидели на берегу озера, Томас в инвалидной коляске, его друг – на скамейке. Томас вдруг почувствовал, что нужно быть очень внимательным по отношению к тому, что тот говорит и спрашивает. Но им овладело любопытство, и он осторожно заметил:

– Кое о чем мне тоже хотелось бы знать.

– Все образуется само собой. Я считаю, что ты умно поступил, все поручив Юте. Тебе самому не нужно ни о чем беспокоиться. Скоро придут будни, и они будут нелегкими. – Друг положил ему руку на плечо. – Мне импонирует, что ты хочешь увидеться с Ютой лишь после того, как будешь в нормальной форме.

– И скоро это будет?

– Думаю, месяца через два. Я тут переговорил с врачами. Они считают, что твоё состояние ещё улучшится, и будет неплохо, если твоё сердце ещё немного побудет у них под контролем.

Друг оставил ему небольшую бандероль от Юты. Томас распечатал ее и нашел там каталог своей весенней выставки. Она действительно состоялась, и организовала ее Вероника в своей гамбургской галерее. Это была графика. Вероника собрала его наброски и зарисовки и выставила их на продажу по заоблачным ценам. Томас обнаружил также небольшую брошюру, якобы его авторства: «Мысли о строительстве фантастического моста через фантастическую реку». Это был доклад, который Юта сделала весной в Гамбурге от его имени. Он узнал те мысли, которые приходили ему в голову и которые он время от времени записывал в тетрадку; должно быть, Юта нашла ее и обобщила его мысли в форме доклада. Ее введение к докладу было сформулировано как вступительное слово. Юта сумела подать его публике как человека, который бежит от полнокровной жизни и отправляется в путь, чтобы, свободным и одиноким, глубже понять архитектуру мостов и придать ей завершенность форм. Поэтому и доклад делал не он. По ее мнению, максимум, на что он согласен, это перепоручить ей работу с рукописью. Поэтому и мост через Гудзон он не будет строить лично. Он поручит это ей, чтобы полностью посвятить себя проекту и не отягощать себя решением бюрократических, политических и финансовых проблем. Томас засмеялся: он

никогда не ожидал от Юты, что она так ловко сможет его, Томаса, переработать и реализовать на рынке, при этом выхватив у него из-под носа мост через Гудзон. Да и Вероника тоже. И она продемонстрировала при его переработке и реализации талант, наличия которого он и не предполагал. Тут он просто расхохотался. Еще только Хельги не хватает!

### 13

Хельга приехала на новом БМВ.

– Старый я сдала в качестве первого взноса за этот.

– Почему меня забираешь ты? Почему не приехала Юта? – Он, который раньше собирался раз-два и появлялся на вокзале или в аэропорту в самую последнюю минуту, еще со вчерашнего дня сидел возле упакованных чемоданов и ждал, когда Юта за ним приедет. Он был взволнован.

– У Юты забот полон рот. Ты что, не хочешь ехать со мной? Вызвать тебе такси или машину с водителем?

– Нет, ну а вдруг?.. – Он посмотрел на свои неподвижные ноги.

– Если у тебя возникнут проблемы с катетером? Не переживай, что я, впервые в жизни вижу тебя в чем мать родила?! – Она рассмеялась. – Давай, садись, не задерживай людей и не мешай им работать.

Она вела машину быстро и уверенно, одновременно рассказывая ему о делах с клиникой.

– Через пару недель празднуем окончание строительства. Ты должен приехать и произнести речь. Тебе, кстати, сразу же придется заняться планированием аналогичных стоматологических клиник в Ганновере и во Франкфурте. Франчайзинг тут не пройдет юридически, но у меня есть одна мысль, как нам...

– Хельга!

– ...добиться того же результата. Надо лишь...

– Хельга!

– Да?

– Я тебя обидел, когда просто так взял и сбежал?

– Все в порядке. Ты помог поставить клинику на ноги, со всем остальным мы прекрасно справились без тебя.

– Я не о клинике. Я...

– О других вещах пусть расскажут другие. Не то чтобы я не смогла этого сделать, но это было бы нечестно.

Они попали в пробку, и поездка затянулась дольше, чем планировалось. У него таки возникли проблемы с катетером, и Хельга помогла ему умело, не испытывая ни отвращения, ни сострадания, как будто это было самым обычным делом на земле.

– Спасибо. – Ему было стыдно. Эротика и сексуальность не умерли, как он порой надеялся, а порой боялся. Он просто не мог больше жить ими. Он был импотентом. Голова желала, а тело не могло. И то, что он не чувствовал позывов грешной плоти, не помогало. Не помогало и то, что Хельга была с ним холодна и держалась на расстоянии.

Инвалидная коляска четко вписалась в лифт. Хельга поднялась пешком. Когда лифт остановился, в дверях стояли Юта и Вероника.

– Добро пожаловать домой.

Он робко посмотрел на одну, потом на другую.

– Привет!

Вероника хотела покатить его коляску, но он предупредил ее движение и сам въехал в квартиру, а затем через арку на балкон. Глазам открылся столь знакомый вид на Шпрее и Тиргартен, на Бранденбургские ворота и рейхстаг. Новый купол уже был готов.

Он обернулся. В дверях стояла Юта.



– Где дети?

– У наших – летние каникулы. Мальчики в Англии, а Регула у моих родителей. Ваша малышка – у няни.

– А как вы... Как вы... Откуда вы друг друга знаете?

– Хельга свела нас вместе. Она просто однажды пригласила нас к себе.

Томас услышал, как Хельга поднялась по лестнице, зашла в квартиру и поздоровалась с Вероникой. Он повернул коляску и остановился перед Ютой.

– Мы не могли бы поговорить наедине? Дай мне объяснить тебе, как все произошло. Я не хотел сделать тебе больно. Я, правда...

Юта лишь кивнула.

– Это все вчерашний день. Тебе не надо извиняться. Давай-ка лучше поедem вперед. Веронике скоро уходить. – Она покатила его коляску, не обращая внимания на то, что он хотел это сделать сам, позвала Хельгу и Веронику, и они направились в соседнюю комнату.

Он с большим трудом узнал ее. Гостиная превратилась в мастерскую с мольбертами, деревянными рамами с натянутыми на них холстами, красками и кистями, а стены украшали несколько его зарисовок.

– Я не выставяла их, подумала, что они могут тебе понадобиться. Мотив железной дороги – твоя следующая серия должна быть об этом. Художник и железная дорога, которая сделала его калекой, – картины пойдут нарасхват.

Юта покатила его через раздвижную дверь в бывшую столовую. Перед окном стоял чертежный стол, на полке – его книги из офиса, а там, где раньше находился обеденный стол, стоял стол для заседаний с шестью стульями. Юта подтолкнула коляску, и он оказался во главе стола. Женщины сели.

– Это твоя квартира. Две комнаты для работы ты уже видел. Спальня осталась там же, в комнате мальчиков будет спать медсестра, а в комнате Регулы, та из нас, которая в данный момент будет заботиться о тебе.

Хельга перебила Юту:

– Извини, что перебиваю, но Веронике нужно уходить и мне тоже. Во всех этих вопросах с квартирой и хозяйством он разберется. Проект не ждет. Мы пообещали его англичанам на осень, а на завтра я вызвала сюда Хайнера, чтобы он показал Томасу, что уже сделано. Хайнер, – она повернулась к Томасу, – уже начал работу над проектом. А в следующий понедельник придет журналистка из Vogue. И к этому времени на мольберте что-то должно быть. Если мы начнем работать с прессой сейчас, то к зимней выставке у нас будет сногшибательная реклама. – Хельга на секунду задумалась. Посмотрела на Юту, затем на Веронику. – Чтонибудь еще?

– Пару слов о том, как все будет оформлено.

Хельга кивнула.

– Вероника права. Наша компания по переработке и реализации уже известна тебе по цветам к твоему дню рождения. «ГТТ», три Томаса. Ты передаешь нам права на твои работы, а мы заботимся о тебе.

– Права на мои...

– Собственно, ты нам их уже передал. Когда ты просто исчез, не позаботившись о детях, о нас, о вашей фирме, ее мастерской, моей клинике, жизнь должна была продолжаться, а без твоих подписей она не смогла бы идти дальше. Мы не пользовались твоей кредитной карточкой и не грабили твои счета. Мы не злоупотребляли твоей подписью, использовали ее лишь раз, когда нам это потребовалось.

– А если я захочу переработать и реализовать себя сам? Если я не приму вашей игры? Я же не...

– Нет, ты именно то, что хотел сказать. Ты калека на инвалидной коляске, нуждающийся в помощи. И помощь эта должна быть под рукой круглые сутки. Мы об этом позаботимся. Мы свозим тебя в отпуск, будем вывозить в свет, если тебе захочется посмотреть какой-то определенный фильм или отведать какие-нибудь особые спагетти, ты

получишь все, что пожелаешь. Не будь глупцом и не принуждай нас выключать лифт, отключать телефон и делать так, чтобы у тебя появились пролежни или инфекция мочевыводящих путей.

Кроме того, у тебя ведь будет репутация архитектора, художника и основателя империи частных клиник. Если ты не будешь с нами в одной команде, мы найдем какого-нибудь молодого художника, который будет рисовать вместо тебя, Юта будет проектировать мосты, а я возьму на себя стоматологические клиники. А ты в это время будешь сидеть здесь наверху без лифта и телефона, а на окна мы поставим ставни. Если ты хочешь валять дурака, ну что же, продолжай. Во всяком случае, я сыта твоими фортелями по горло. Равно как и все мы. Мы достаточно плясали под твою дудку, терпели твои отлучки, переносили твои капризы, выслушивали твое дерьмо и твои...

– Эй, Хельга, – засмеялась Вероника, – не спеши. Он будет с нами. Он просто ломается.

– Я уйду. – Хельга встала. – Вы со мной? – Она повернулась к Томасу. – В шесть кто-то придет и останется до утра. И в последующие дни тоже. Поначалу так лучше.

Хельга и Вероника ушли не прощаясь. Юта провела рукой по его волосам.

– Не делай глупостей, Томас.

Потом ушла и она.

Он катил по квартире. Здесь было все, что нужно для жизни. Он выехал из квартиры на лестничную клетку и нажал кнопку вызова лифта. Лифт не пришел. Он поехал на балкон, высунул голову за перила и крикнул вниз: «Эй, люди!» Никто его не слышал. Он мог сползти вниз по лестнице без коляски. Он мог начать бросать на улицу вещи, пока прохожие его не заметили бы. Он мог бы написать «спасите!» на большом листе ватмана и повесить его на перила балкона.

Он остался сидеть на балконе, обдумывал речь, которую будет держать по случаю окончания строительства клиники. Он думал о картинах, которые смог бы написать, и о том, какой мост хотели бы иметь английские заказчики. Через Темзу? Через Тей? Он подумал о стручках сладкого горошка. Сейчас у него есть время для политики. Сначала баллотироваться в законодательное собрание округа, потом в земельный парламент. А потом, может быть, и в бундестаг? Если все пойдет как положено, то квота на инвалидов перебьет квоту на женщин. А если еще квоты на инвалидов нет, то он потребует ее введения. Сладкий горошек – для всех!

Больше ничего не приходило в голову. Он посмотрел в сторону рейхстага. Крохотные люди бегали вверх-вниз по винтовой лестнице на куполе. Они бегали на здоровых ногах. Но он не завидовал им. Он не завидовал и прохожим, которые бегали на здоровых ногах по улице вдоль берега. Пусть принесут ему кошку. Или двух. Двух маленьких кошечек. Если они этого не сделают, он объявит забастовку.

## **ОБРЕЗАНИЕ**

### **Перевод В. Подмиогина**

#### **1**

Праздник кончился. Большинство гостей разошлось, почти со всех столов было убрано. Девушка-официантка в черном платье и белом фартуке раздвинула шторы, распахнула окна, и зал наполнился солнцем, воздухом и шумом. На Парк-авеню гудел поток машин, они останавливались через определенные промежутки времени перед светофором, пропуская спешащий и сигнализирующий встречный поток, и вновь набирали скорость. Ветерок, ворвавшийся в окна, закружил плавающие клубы сигарного дыма и пылинки и унес их на улицу.

Анди хотел, чтобы Сара вернулась и они бы пошли вместе. Она ушла со своим

младшим братом, чей день совершеннолетия, бар-мицву,<sup>8</sup> они праздновали всей семьей, оставила его наедине с дядей Аароном. Дядя Аарон был чрезвычайно мил, вся семья очень милая, и дядя Иосиф, и тетя Лия, Анди знал от Сары, что они были в Освенциме, потеряли там родителей, братьев и сестер. Его спросили, чем он занимается, как живет, откуда он, чего хочет от жизни, – все то, о чем спрашивают молодого человека, которого дочка, племянница или двоюродная сестра впервые приводит на семейный праздник. Не было трудных вопросов, дерзких замечаний, неприятных намеков. Анди ни в ком из них не заметил злорадства, что он будет чувствовать себя неловко, не так, как какой-нибудь голландец, француз или американец: на него смотрели радушно, но с благожелательным любопытством, как бы приглашали окинуть заинтересованными взглядом их семью.

Но ему было нелегко. Ведь любое неправильное слово, сказанное им, или неверный жест могли все разрушить. Можно ли доверять этому радушию? Было ли оно искренним? Ведь в любой момент все могло рухнуть. Разве у дяди Иосифа и тети Лии было недостаточно причин дать ему почувствовать при прощании, что вновь его видеть они не желают? Выбирать правильные слова и верные жесты – это требовало больших усилий. Анди не знал, что они могут воспринять как неправильное. То, что он служил в армии, а не уклонился от службы? Что у него в Германии не было друзей и знакомых среди евреев? Что все в синагоге казалось ему чужим? Что он ни разу не съездил в Израиль? Что не мог запомнить имена присутствующих?

Дядя Аарон и Анди сидели по разные стороны большого стола. Их разделяли белая скатерть в пятнах, усыпанная крошками, смятые салфетки и пустые винные бокалы. Анди крутил ножку бокала между большим и указательным пальцами, в то время как дядя Аарон рассказывал о своем путешествии по Средиземному морю. Оно длилось восемьдесят дней, как и путешествие мистера Фогга вокруг света. Как и Фогг, он во время путешествия нашел себе жену. Она была из еврейской семьи, выехавшей около 1700 года из Испании в Марокко. Дядя Аарон рассказывал об этом охотно и с юмором.

Потом он посерьезнел:

– А вы знаете, где тогда, двести лет назад, жили ваши предки и чем они занимались?

– Мои... – Но Анди не успел ответить на вопрос.

– Наши были единственными в городке, кто пережил великую эпидемию чумы в 1710 году. Они поженились. Он был из простой семьи, а она – дочерью раввина. Она научила его читать и писать, и он стал торговать лесом. Их сын расширил торговлю, а внук уже был крупнейшим лесоторговцем не только в округе, но и во всех польских и литовских губерниях. Вы знаете, что это значит?

– Нет.

– Это значит, что из своего леса он после великого пожара 1812 года вновь отстроил синагогу, которая была больше и красивее прежней. Его сын еще расширил торговлю лесом. Пока в 1881 году не сгорели его склады на юге, после этого он так и не смог оправиться, пришел крах его торговле, а сам он был подавлен и раздавлен. Вы знаете, что было в 1881 году?

– Погром?

– Погром, погром. Самый большой погром века. После этого они эмигрировали. Сыновья забрали их с матерью с собой, хотя старики и не хотели уезжать. 23 июля 1883 года они прибыли в Нью-Йорк.

Он замолчал.

– А что дальше?

– А что дальше? – Этот вопрос его дети тоже всегда задавали. Как было там, в той земле, где они раньше жили, как возник тот великий пожар, что написал раввин, умерший от той страшной чумы, а ведь он что-то написал, – все это их не интересовало. Но, когда он

---

<sup>8</sup> Праздник совершеннолетия у евреев, отмечаемый, когда мальчику исполняется 13 лет.

рассказывал, что семья прибыла в Нью-Йорк, тут они наседали: «А что дальше? А что дальше?» Он опять прервал рассказ и покачал головой: – Они жили в нижнем Ист-Сайде и портняжили. Восемнадцать часов в день за пятьдесят центов, и так шесть дней, то есть три доллара за неделю. Они сэкономили достаточно, чтобы Беньямин в 1889 году смог пойти учиться. Самуэль бросился сначала в политику и даже печатался в одной еврейской газете. Но после того, как Беньямин потерпел крах, сначала торгуя дровами, потом поношенной одеждой, и добился-таки успеха в торговле металлоломом, Самуэль вошел к нему в долю. В 1917 году они продали свой бизнес по торговле металлоломом и с полученными деньгами за один сумасшедший военный год, год биржевых авантюр, сколотили целое состояние. Можете себе это представить? За один год – целое состояние!

Он не стал дожидаться ответа.

– В сентябре 1929 года, за три месяца до обвала биржи, они продали все ценные бумаги. Они влюбились в двух сестричек, приехавших в 1924 году из Польши. Они так в них влюбились, что думали только о сестрах и не хотели думать о ценных бумагах.

– О, любовь побила биржу? – На какое-то мгновение Анди испугался, что его замечание прозвучало слишком дерзко.

Но дядя Аарон рассмеялся:

– Да, и на деньги, которые на пике экономического кризиса мало у кого водились, они приобрели ту фирму по металлолому в Питтсбурге, которая в 1917 году откупила их бизнес, еще одну фирму в Далласе и стали сразу не только счастливейшими из мужей, но еще и очень преуспевающими бизнесменами.

– Эти две вещи совместимы?

– Нет, но им было хорошо. Однако не бывает счастья без капельки горечи. У Самуэля и Ханны не было детей. Зато у Беньямина и Тирцы их было трое. Моего брата, врача, вы знаете. – Он показал на отца Сары, который сидел в кресле у окна и дремал.

– Меня вы тоже знаете, но вы еще не знаете, что я в этой семье неудачник и ничего не прибавил к ее славе. С моей сестрой Ханной вы еще познакомитесь. Хотите верить, хотите нет – но это она управляет фирмой, она расширяет ее, а как она это делает – для меня загадка, но загадка добрая, ведь с этого мы все живем, и мой кузен Иосиф со своей Лией – они остались живы и тоже приехали сюда. Что делал ваш отец во время войны?

– Он был солдатом.

– Где?

– Сначала во Франции, потом в России, под конец в Италии, где и попал в американский плен.

– Когда Иосиф это услышит, он обязательно вас спросит, не проходил ли ваш отец через Козаровск, но я уверен, вы этого не знаете.

– Не имею ни малейшего представления. Отец рассказывал мне о войне не больше того, что я вам только что поведал.

Дядя Аарон приподнялся.

– Нам всем надо идти. Иосиф и Лия хотят в синагогу.

Анди взглянул на него с удивлением.

– Вы думаете, что четырех часов сегодня утром вполне достаточно? Да, их хватило бы и мне, и большинству остальных. Но Иосиф и Лия ходят туда значительно чаще, а сегодня у Давида бар-мицва.

– Мне...

Но Анди не мог вспомнить это еврейское слово и покраснел.

– Мне понравилась та маленькая речь, которую Давид произнес за обедом.

– Да, Давидова дераша была хороша. Как в части изложения Торы, так и после, когда он говорил о любви к музыке. И утром на богослужении он тоже хорошо читал. – Дядя Аарон смотрел прямо перед собой. – Ему нельзя потеряться. Никому больше нельзя теряться.

Анди и Сара шли через Центральный парк. Родители Сары жили на его восточной стороне, а у них самих квартиры были на западной.

Заходящее солнце отбрасывало длинные тени. Было прохладно, скамейки стояли пустые. Лишь пара любителей бега трусцой и роликов да несколько велосипедистов встретились им на пути. Он обнял ее за плечи.

– Почему дядя Аарон рассказал мне историю вашей семьи? Мне было интересно, но не думаю, что он мне рассказал ее просто так.

– А почему?

– Ты не должна отвечать на мои вопросы контрвопросами.

– А ты не должен меня поучать.

Они шли молча, и у обоих на сердце тлела обида на другого, и оба были несчастливы из-за этой обиды. Они были знакомы уже два месяца. Познакомились в парке; собаки, которых они выводили гулять по просьбе своих уехавших соседей, хорошо знали друг друга. Через два дня они договорились встретиться после обеда, чтобы выпить по чашечке кофе, а расстались лишь к полуночи. Уже в тот вечер он знал, что влюбился, она поняла это на следующее утро, когда проснулась. С тех пор они проводили вместе уик-энды и еще два-три вечера в неделю, а с вечерами прихватывали и ночи. Оба были очень заняты; он получил от своего университета в Гейдельберге годичный отпуск и стипендию для написания диссертации по юриспруденции. Она работала над программой компьютерной игры, на которую отводилось несколько месяцев. Катастрофически не хватало времени: для работы и для себя.

– Это был прекрасный праздник, я благодарен тебе за то, что ты взяла меня с собой. Все было прекрасно: и синагога, и обед, и разговоры. Я ценю ту доброжелательность, которую все проявили по отношению ко мне. Даже дядя Иосиф и тетя Лия были доброжелательны, хотя это наверняка далось им нелегко. – Он вспомнил, как Сара в один из первых вечеров рассказала ему о дяде Иосифе, тете Лие и их семье, уничтоженной в Освенциме. Он не знал, что сказать. Сказать «Это ужасно» казалось слишком банальным, а спросить, сколько человек в семье, было, по меньшей мере, нетактично, словно он считает, что уничтожить маленькую семью есть меньшее зло, чем уничтожить большую.

– Он рассказал тебе историю семьи, чтобы ты знал, с кем имеешь дело.

Через некоторое время он спросил:

– А почему он не захотел узнать, с кем вы все имеете дело?

Она остановилась и озабоченно посмотрела на него.

– Что случилось? Почему ты такой раздраженный? Что тебя обидело? – Она обвила руками его шею и поцеловала в губы. – Ты всем понравился. В твой адрес отпустили столько комплиментов, какой ты симпатичный и умный, милый, скромный и вежливый. И почему они должны были ополчиться на тебя из-за вашего общего немецкого прошлого? То, что ты немец, они знают.

И это заслоняет все остальное? Но он только подумал об этом и ничего не спросил.

Они пришли к ней домой и любили друг друга, пока на улице не стемнело. В комнате еще не стемнело, как зажегся фонарь перед окном и залил все – стены, шкаф, кровать и их тела – жестким белым светом. Они зажгли свечи, и комната сразу наполнилась теплым мягким сумраком.

Ночью Анди проснулся. Свет фонаря заливал комнату, отражался от белых стен, освещал каждый закуток, проглатывал тени, и все казалось плоским и легким. Фонарь стер морщинки с Сарино лица и сделал его совсем юным. Анди был счастлив смотреть на это лицо, но вдруг его охватило чувство ревности. Никогда он не будет свидетелем того, как она в первый раз танцует, едет на велосипеде или радуется морю. Ее первый поцелуй и первые объятия уже получили другие, и в ритуалах ее семьи и их веры был свой мир и своя сокровищница, которые навсегда останутся закрытыми для него.

Он вспомнил, как они поссорились. Это была их первая ссора. Позже она показалась

ему предвестницей всех последующих размолвок. Но это так легко – задним числом решать, что стало предвестием. Всегда можно отыскать сегодняшнее предзнаменование для того, что с вами случится завтра, и даже для всего того, что так и не произойдет.

### 3

На бар-мицве Давида он познакомился с Рахилью, сестрой Сары. Она была замужем, у нее было два сына, двух и трех лет, она не работала. Не мог бы он взять напрокат машину и совершить с ней поездку? Она бы показала ему то, чего он еще не видел. Одно из тех великолепных поместий на берегу Гудзона. Сара высказалась «за»:

– Она скажет, что делает это ради тебя, но она никогда не выходит из дома, а так бы этого хотела. Сделай это ради нее и ради меня; я буду так рада, если вы сойдетесь поближе.

Он заехал за ней. Утро было ясным и свежим, и так как он не мог припарковаться возле ее дома, и им пришлось пройти два квартала, они были рады, что в машине тепло. Она прихватила с собой кофе и шоколадное печенье, и в то время, как он сконцентрировался на управлении автомобилем и лишь изредка позволял себе глоток кофе или кусочек печенья, она молчала, ела печенье, пила кофе, грела руки теплом стаканчика и неотрывно смотрела в окно. Потом ехали вдоль Гудзона на север.

– Как хорошо. – Она убрала стаканчик, потянулась, как кошка, и повернулась к нему. – Вы любите друг друга, Сара и ты?

– Мы еще никогда об этом не говорили друг другу. Она немножко трусиха, и я тоже. – Он улыбнулся. – Странно сообщать тебе, что я люблю ее, прежде, чем она услышала об этом от меня.

Она ждала, что он скажет дальше. Потом заговорила сама, рассказала, как ее будущий муж влюбился в нее, а она в него, о своем свекре, раввине, о кулинарных способностях свекрови, о работе мужа в отделе новых разработок одной электронной компании, о своей недолгой работе в библиотеке некоего фонда и о тоске по новой работе.

– Есть очень много людей, они любят книги и кое-что в них понимают, их как песчинки на берегу моря. Но туда, где они могли бы приносить пользу, их не берут на работу, а на свободные места берут состоятельных дам, которые ничего не умеют делать, но и ничего не стоят, они таким образом разгоняют скуку, так как их мужья сидят в наблюдательном совете или выступают как спонсоры. Знаешь, я с радостью занимаюсь своими детьми, и в первые годы каждый день был как чудо. Но за работу два, ну пусть даже один раз в неделю я бы отдала – нет, не левую руку, но мизинец на левой ноге или даже на правой. И для детей было бы лучше. Я так переживаю, так боюсь за них, что они это чувствуют и страдают от этого.

Анди рассказал о своем детстве в Гейдельберге.

– Наша мать тоже не работала. Я знаю, что у матерей есть право работать, но моя сестра и я так любили, когда мамино время принадлежало нам. А еще мы играли на улице, за домом начинался лес, и нас не надо было возить на занятия в спортивной секции, на уроки музыки, к друзьям или в школу, как возят детей в Нью-Йорке.

Они поговорили о том, как растут дети в больших и маленьких городах, и о тех трудностях, которые есть и здесь, и там. Они были едины в том, что не хотели бы вернуться в детство, ни в Нью-Йорке, ни в Гейдельберге.

– Когда дети идут в колледж, тогда ведь все самое худшее позади? Ведь правда, что тот, кто в старших классах не пристрастился к наркотикам, позже уже никогда не сядет на иглу? А тот, кто попал в колледж, тот закончит его обязательно?

– По-твоему, это самое худшее? Употреблять наркотики или не попасть в колледж?

Анди покачал головой.

– Это то, от чего родители пытаются защитить своих детей, правда? От этого и от кое-чего другого. Конечно, есть вещи и похуже, но тут уж от родителей ничего не зависит. – Он спросил сам себя, правда ли то, что он перед этим сказал, и не был уверен, что сказал правду. – А что самое плохое для тебя?

– То, что может случиться с моими детьми. – Она посмотрела на него.

Позже он пожалел, что не попытался запечатлеть в памяти ее лицо. В ее взгляде был вопрос, словно она спрашивала себя, что он хочет узнать. Смотрела на него нерешительно: потому ли, что не знала, должна ли отвечать на его вопросы? Или колебалась потому, что не была уверена в своем понимании самого плохого? Место, которое они проезжали, наоборот, четко ему запомнилось. От дороги, что, петляя, тянулась вдоль берега, отходила слева другая дорога к мосту через реку. Мост, эта конструкция из железа и стали с пролетами и арками, предстал их взору, когда Рахиль сказала: «Самое ужасное, если мои мальчишки когда-нибудь женятся на нееврейках».

Он не знал, что отвечать и что думать. То, что сказала Рахиль... Не то же самое, если бы он сказал: «Для меня будет ужасно, если мой сын женится не на немке, не на арийке, а на еврейке или негритянке»? Или речь здесь шла только о религии? И что, для нее это будет ужасно, если он и Сара поженятся? Потом, подумал он, последует еще что-то, объяснения или просьба понять ее правильно и не обижаться. Но ничего этого не последовало. Спустя некоторое время он спросил:

– А почему это так ужасно?

– В этом случае они бы все потеряли. Зажигание свечей в пятницу вечером, киддуш, произнесенный над вином, и благословение над хлебом, кошерную пищу в праздник Рош-а-Шана, слушать шофар, прощать обиды перед Йом Кипуром, в Суккот строить из ветвей и украшать шалаш, жить в нем – с кем мои сыновья смогут соблюдать наши законы, как не с еврейкой?

– А может, твои сыновья или один из них не хотят все это соблюдать. Может, они будут получать удовольствие от того, что будут решать с женой-католичкой, какой праздник и как именно им праздновать: по-еврейски, по-католически или как-то иначе, и какого ребенка как воспитывать. Почему они не должны пойти со своим сыном в шаббат в синагогу, а она в воскресенье с дочкой в костел? Что в этом такого ужасного?

Она покачала головой:

– Так не пойдет. В смешанных браках не живут богатой духовной жизнью, там нет никакой духовности.

– А может, оба счастливы оттого, что они не иудеи и не католики. И от этого они не становятся хуже, ты ведь тоже ценишь и уважаешь людей, которые и не иудеи, и не католики? И дети их могут открыть для себя богатую духовную жизнь как буддисты или мусульмане, как католики или иудеи.

– Как может быть счастлив мой сын, если он больше не иудей? Кроме того, это неправда, – то, что ты говоришь. Второе поколение не возвращается обратно к иудаизму. Конечно, есть особые случаи. Но статистика свидетельствует – кто заключает смешанный брак, тот для иудаизма потерян.

– Но, может быть, он или его дети придут к чему-то другому?

– Ты кто? Католик, протестант, атеист? Во всяком случае, вас так много, что вам нечего бояться смешанных браков. А мы не можем позволить себе потерять никого.

– Что, евреев в мире становится меньше? Я не помню статистических данных, но не могу себе этого представить. Кроме того, если в один прекрасный день никто не захочет больше быть ни католиком, ни протестантом, ни атеистом, ни иудеем, – что против этого можно возразить?

– Что можно возразить против того, что в один прекрасный день может не остаться евреев? – Она непонимающе взглянула на него. – И это спрашиваешь ты?

Его охватило раздражение. Что за вопрос? Что, ему как немцу нельзя считать, что иудаизм, как и любая другая религия, жив лишь тогда, когда мировоззрение выбирается добровольно, и умирает, если этого не происходит? Что, Рахиль верит, будто религия евреев – это что-то особенное и евреи действительно богоизбранный народ?

Как будто услышав его вопрос, она спросила:

– Если для тебя вера твоих отцов значит так мало, что ты можешь спокойно позволить

ей умереть, это твое дело. Я же хочу, чтобы моя – жила, а с ней и в ней жила моя семья. Да, я считаю иудаизм уникальной религией и не понимаю, почему ты злишься, ведь я никому не запрещаю считать его религию тоже единственно правильной и неповторимой. И точно так же дело обстоит с моей семьей. Посмотри, – она положила левую руку ему на плечо, а правой показала вперед, – там выезд на Линдхерст. Мы приехали.

Они осмотрели великолепное поместье, построенное в новоготическом стиле, побродили по буйно цветущему розарию, пообедали, посидели на берегу Гудзона, поговорили о всякой всячине, о книгах и картинах, бейсболе и футболе, школьной форме и загородных домах. Это был легкий, спокойный и радостный день. Но на обратном пути его не оставлял вопрос, как она относится к тому, что он и Сара любят друг друга, и он подумал, что лучше бы этот вопрос никогда не возникал.

#### 4

У него не было в Нью-Йорке ни друзей, ни подруг, с которыми он мог бы познакомить Сару, и прошло какое-то время, прежде чем она начала представлять его своим друзьям и подругам. В первые месяцы знакомства они были слишком счастливы наедине друг с другом, слишком много было такого, что они открывали друг в друге и открывали друг с другом, так что в других они не нуждались. Вместе гулять в парках, Центральном и Риверсайдском, вместе ходить в кино, в театр и на концерты, брать напрокат видеокассеты с любимыми фильмами и смотреть их, вместе готовить, беседовать – у них и для себя-то было слишком мало времени, где уж тут тратить его на других.

В ту первую ночь она долго смотрела на него, пока он не спросил, о чем она думает, сказала:

– Надеюсь, ты никогда не перестанешь говорить со мной.

– А почему я должен перестать?

– Потому что ты думаешь, будто знаешь, что за мысли крутятся у меня в голове, и не желаешь, чтобы я их тебе поведала. Мы принадлежим к двум различным культурам, говорим на разных языках, и даже если ты правильно переводишь со своего языка на мой, мы все равно живем в двух разных мирах – если мы прекратим говорить друг с другом обо всем, нас растащат в разные стороны центробежные силы.

У них были две разные манеры общения. Одна была легкой и быстрой, не лишенной подчас желания необдуманно исправлять друг друга, быстро проходящих обид и взаимных бурных извинений. Но часто от этой легкости ничего не оставалось. Другая была медленной и осторожной. Когда они начинали говорить о различиях своих религий или о немецком в его мире и еврейском в ее, они были осторожны, чтобы не поставить друг друга в двусмысленное положение. Когда он шел вместе с ней в синагогу, это производило на него сильное впечатление. Когда он вместе с ней слушал доклад о хасидах, ему было интересно, посещение по пятницам ее родителей было прекрасным. Он действительно с удовольствием ходил вместе с ней всюду, он хотел познать ее мир. О том, что отталкивало его, он не говорил не только с ней, даже сам себе не мог в этом признаться. И о разговоре с Рахилью он умолчал. «Было прекрасно», – сказал он, когда Сара спросила о прогулке в Линдхерст, а так как Рахиль после той прогулки стала к нему еще более доброжелательна, то Сара была довольна. Со своей стороны она считала немецкую литературу замечательной, прочитала все, что он приносил ей в переводах. Ей нравилось ходить на мероприятия, организуемые институтом Гете, и на богослужения в Риверсайдскую церковь.

В апреле у него был день рождения, и она сделала ему сюрприз, организовав маленький праздник. Она пригласила его американских коллег, с которыми он жил в университетском общежитии, своих друзей-программистов, преподавательницу с мужем-художником, зарабатывающих на жизнь реставрацией картин, Рахиль с мужем Джонатаном и пару бывших своих студентов, которым когда-то преподавала информатику. Она приготовила салаты, испекла сырное печенье, и гости, стоя с тарелками и бокалами в руках, запели



«Happy birthday, dear Andi», когда он вошел. Она с гордостью представила его всем своим подругам и друзьям, он всем улыбнулся.

Разговор коснулся Германии. Один из бывших студентов Сары год провел во Франкфурте по программе обмена. Он восторгался немецкой пунктуальностью, практичностью и чистотой, немецким хлебом и немецкими булочками, яблочным вином, луковым пирогом и жарким из говядины. Но немецкий язык часто просто сбивал его с толку. По-немецки «бестолковщина» звучала как «польское хозяйство», а «дикая спешка» называлась «еврейской спешкой». Если немцы наедались до отвала, то говорили «до смерти от газа».

– От газа? – вмешался в разговор художник и посмотрел на Анди.

Анди пожал плечами:

– Не имею ни малейшего представления, откуда идет это выражение. Я думаю, что оно старше, чем холокост, оно из времен Первой мировой войны или обозначает самоубийство газом. Я его уже давно не слышал. Сегодня, когда хотят сказать нечто подобное, говорят «до дальше некуда», «до рвоты», «до упора».

Но художник был потрясен. Немцы говорят, если чем-то по горло сыты, что они убьют это что-то газом? А если они решат, что людей на земле больше некуда? Анди перебил его:

– Речь идет о том, что делаешь что-то до тех пор, пока уже не можешь. Наелся до рвоты, уже не можешь больше есть, что умираешь, умираешь от газа, потому что не можешь разобраться со своей жизнью. Речь идет о тебе самом, а не о том, что ты сделаешь с кем-то.

– Не знаю. Мне кажется, что... – художник покачал головой: – А «польское хозяйство», а «еврейская спешка»?

– Это безобидные этнические шуточки, которые есть и у самих немцев, когда они говорят о вестфальских тупицах или рейнских весельчаках, о прусской дисциплине или саксонской расхлябанности. Над машинами, которые поляки угоняют, а потом контрабандой везут в Польшу, сегодня потешается вся Европа.

Он не знал, смеется ли какой-нибудь немец над саксонской расхлябанностью или какой-то другой европеец над польскими угонщиками. Но он мог себе это представить.

– Мы в Европе так тесно сидим друг на друге, гораздо теснее, чем вы в Америке. Вот и подсмеиваемся друг над другом.

Преподавательница возразила:

– Я думаю, все как раз наоборот. Именно потому, что в Америке различные этнические группы живут рядом друг с другом, этнические намеки у нас – табу. Иначе мы бы постоянно сталкивались с проблемами.

– Почему проблемы? Этнические намеки не обязательно должны быть злобными. Они могут быть и шутивными.

Один из коллег Анди включился в разговор.

– Шутивные они и благожелательные или злобные и оскорбительные, – это же решает лишь тот, в чей адрес они направлены, ведь так?

– Речь идет всегда и о том, кто высказывается, и о том, кому высказывание адресовано, – поправил его другой коллега. – Договоры, торговые предложения, уведомления об увольнении, возьми все, что хочешь, всегда есть две стороны, – коллеги заговорили на своем профессиональном жаргоне.

Анди с облегчением вздохнул. Когда он рассказал Саре о полученном сегодня письме, в котором сообщалось, что его отпуск и стипендия продлены еще на один год, она обняла его со слезами счастья на глазах и объявила об этом гостям. Были приветствия и поздравительные тосты, а с художником Анди особенно сердечно выпил за свое и его здоровье.

Вечером, когда Сара и Анди обсуждали вечеринку и гостей, Сара вдруг сказала:

– Мой верный маленький солдатик, почему ты бьешься за то, что тебе самому не нравится. Ты никому не обещал защищать злобные этнические шуточки. Ведь «смерть от газа», «еврейская спешка» – это просто обидно.

Анди не знал, что и думать. Он вдруг вспомнил американские и английские фильмы о войне, которые видел мальчишкой. Он знал, что немцы по праву изображались там негативно, но тем не менее ему было не по себе. А в отношении выражения «еврейская спешка» он даже не понимал, есть ли тут какой-то злобный намек или оно вовсе безобидное.

В постели он спросил ее:

– Ты меня любишь?

Она села на постели и положила свою руку ему на грудь.

– Да.

– Почему?

– Потому что ты такой милый и умный, порядочный, великодушный. Потому что ты мой верный маленький солдатик, который так усложняет собственную жизнь. Ты не хочешь никого обидеть, и хотя тебе многое удастся, но ведь не все, да все и не может удаваться, но ты все-таки делаешь свое, и это тревожит мое сердце. Потому что тебя любят дети и собаки. Потому что я люблю твои зеленые глаза и каштановые кудри и потому что мое тело любит твое. – Она замолчала, поцеловала его и прошептала: – Нет, оно не любит его, оно жаждет его.

Позже она спросила:

– А ты? Ты знаешь, почему любишь меня?

– Да.

– Скажешь мне об этом?

– Да. – Он довольно долго молчал. Сара, верно, подумала, что он заснул.

– Мне еще никогда не встречалась женщина, которая так зорко видит, которая так заботливо и понимающе смотрела бы на меня. Я осуществляюсь в твоем взгляде. Я люблю тебя за компьютерные игры, которые ты изобретаешь. Ты используешь свои знания, чтобы создать нечто на радость другим. Ты будешь прекрасной матерью. Ты... ты знаешь, кто ты есть, откуда ты есть и куда хочешь прийти, знаешь, что тебе нужно, чтобы жизнь удалась. Я люблю тебя за надежность пристанища, которое есть у тебя в этом мире. И ты прекрасна. – Он коснулся рукой ее лица, как будто комната была не светлой, а темной, и он ничего не видит. – У тебя самые черные волосы, которые я когда-либо видел, и самый дерзкий нос, и невероятно волнующие губы, одновременно чувственные и нежные, и я до сих пор не могу прийти в себя. – Он прижался к ней. – Ну что, достаточно?

## 5

В мае, когда закончился семестр, Сара и Анди поехали в Германию. На рассвете они прибыли в Дюссельдорф и пересели в поезд на Гейдельберг. Когда поезд пересекал Рейн у Кельна, взошло солнце, и в лучах его заблестали знаменитый собор и музей.

– Да, – сказала Сара, – это прекрасно.

– А будет еще прекрасней.

Он любил поездки на поезде вдоль Рейна, когда река, петляя, открывала взгляду то покатые, то обрывистые берега, виноградники и отроги, поросшие лесом, замки и небольшие деревушки, торговые суда, легко скользящие вниз по реке и с трудом идущие против течения. Он любил этот отрезок пути зимой, когда в холодном зимнем воздухе над водой стоят клубы пара, а солнце с трудом пробивается сквозь пелену тумана, любил его и летом, когда сказочный мир игрушечных замков, деревушек, поездов и автомобилей на противоположном берегу уютно греется в ярких лучах солнца. Весной его радовали цветущие деревья, а осенью он любовался золотыми и багряными листьями.

День, когда они ехали с Сарой вдоль Великой реки, выдался безоблачным, и небо было необыкновенно ясным и синим, перед ними раскинулась игрушечная Германия. Анди показывал ей поистине с детским восторгом аллею замка Брюль, остров Нонненверт, скалу Лорелеи и средневековый графский дворец у Кауба. Когда поезд свернул в долину Рейна, от этой встречи с родиной у него вдруг защемило сердце. Широкая долина, горы на востоке и

западе, рыжие песчаные карьеры, открывшиеся взору, когда поезд повернул от Маннгейма на Гейдельберг, – он родился здесь, здесь его дом. И сюда он вез сейчас Сару. В Гейдельберге он все время ей что-то показывал, пока такси катило по городу, на другом берегу реки медленно тащилось на гору. Потом они вышли, прошли по Тропе Философов, и тут он гордо «бросил свой родной город к ее ногам»: замок, старый город, Старый мост и речку Неккар, гимназию, в которой учился, городской зал торжественных приемов, где на выпускном вечере вместе с одноклассником он играл концерт для двух флейт, студенческую столовую, где обедал, учась в университете. Он говорил и говорил, стремясь заинтересовать ее, заинтриговать, сблизить с родными местами.

– Милый, – сказала она и прикрыла пальцем его губы. – Милый! Тебе не надо бояться, что мне не понравится твой город. Я смотрю на него и вижу, как маленький Анди бежит в школу, а позже – в студенческую столовую, я люблю этот город и я люблю тебя.

Они приехали в дом его родителей, туда же пришли его сестра с мужем и двумя детьми. Немного позже пришли дяди и тети, а также несколько друзей семьи. Двадцать гостей пригласили его родители на свою мраморную свадьбу, как они называли сорокалетний юбилей совместной супружеской жизни. Как легко Сара вписалась в мою семью, думал он, как очаровательно она болтает со всеми на смеси английского и немецкого, какое у нее свежее лицо, хотя она почти не спала. Какая чудесная у меня жена!

Перед обедом они сидели с отцом и шурином Анди.

– Откуда родом ваша семья? – спросила Сара его отца.

– Мы из Форста. Это по ту сторону долины. Сколько себя помню, мы всегда были виноградарями и трактирщиками. Я первый, кто не пошел по стопам родителей. Зато моя дочь вновь занялась виноделием.

– Вам что, не нравилось вино?

Отец рассмеялся.

– Нет, конечно же нравилось, и виноградники всегда притягивали меня. Но прежде, чем я выбрал свою будущую специальность, мне пришлось стать солдатом и уйти на фронт, и там я понял, что именно мне нравится. Четкая организация. И после плена я пошел в экономику. Кроме того, двоюродный брат, которого из-за больной ноги не взяли в армию, семь лет вел все дела на виноградниках, и я не хотел отбирать их у него. Но как мне их не хватало, моих виноградников. Я потому и женился-то так поздно. Жениться и не поселиться со своей женой рядом с нашим виноградником, а жить в другом месте – этого я себе вообще не мог представить.

– А что вы делали во время войны?

– Все что угодно. В России я имел дело с произведениями искусства. Коммунисты превратили церкви в склады, мастерские, амбары, конюшни, и мы из-под гор мусора и хлама вытаскивали великолепнейшие иконы, светильники и другую церковную утварь.

– И что стало с этими ценностями?

– Мы сделали опись найденных сокровищ, упаковали их и отослали в Берлин. Что с ними стало в Берлине, я не знаю. С организационной точки зрения интересней было во Франции, где я занимался вопросами поставок зерна и вина.

– А в Италии?

– В Италии я был чем-то вроде атташе по экономическим вопросам при последнем правительстве Муссолини.

Анди слушал потрясенный.

– Так много ты еще никогда не рассказывал о войне.

– Но сейчас должен был это сделать. Необходимо рассеять ее недоверие. – Отец посмотрел на нее мудрым и добрым взглядом.

Вечером, когда Сара и Анди лежали в постели, они вспомнили этот мудрый и добрый взгляд. Да, его отец хорош собой, красивой формы голова с коротко подстриженными седыми волосами, и в лице так прекрасно сочетаются крестьянская порода и острый ум. Но под этим взглядом ей стало не по себе.

– Откуда он знает, что я еврейка? Ты что, говорил ему об этом?

– Нет, и я не знаю, имел ли он это в виду, когда говорил о вечно угрожающем недоверии. Судя по тому, как ты спрашивала, не оставалось ни малейшего сомнения в том, что ты хочешь получить определенный ответ.

– И что за ответы я получила? Что делает «что-то вроде немецкого экономического атташе» у Муссолини, который правит своей страной лишь благодаря немцам? И что это такое, заниматься поставками вина и зерна из Франции в Германию? Речь шла о военной добыче, и во Франции, и в России, то есть о разбое и грабеже.

– Почему же ты его не спросила?

Но нет, Анди был рад, что она не спросила отца, и он ей не ответил и не показал икону в своем рабочем кабинете.

– Поэтому я и веду речь о его взгляде. Он сказал мне своим взглядом, что на всякий мой вопрос у него всегда найдется ответ, который покажет неправомерность моего недоверия к нему. Но сам он при этом мне ничего не расскажет.

Анди вспомнил о своих спорах с отцом, тогда у него возникало похожее чувство. И в то же время он не хотел, чтобы упрек в грабеже и разбое предназначался отцу.

– Я верю, что русские церковные сокровища погибли бы, если бы он и его люди не спасли их.

Сара, лежавшая на спине, вскинула было руку, будто хотела сделать какое-то принципиальное замечание. Но потом опустила.

– Может быть. Да мне все равно, что мне до них, до русских икон, французского вина и зерна и его дел с Муссолини. И пока ты не смотришь на меня так же, как твой отец, пусть он смотрит, как хочет. Твоя мать очень милая женщина, мне нравятся твоя сестра и ее дети. – Она задумалась. – А твой отец, это еще тот тип, видит Бог. – Она повернулась на бок и посмотрела на Анди. – Как прекрасна была наша поездка на поезде! А вид с горы! Давай завтра походим по городу? А сейчас займемся любовью?

## 6

В Берлине он впервые ощутил страх, что несхожесть миров, в которых они жили, может поставить их любовь под угрозу. Они побывали в Мюнхене и в Ульме, на Боденском озере, в Шварцвальде и во Фрейбурге, и Сара рассматривала все внимательными, добрыми глазами. Она любила природу больше, чем город, и этот пейзаж на краю долины Рейна глубоко запал в ее сердце, это была любовь, как любовь к Анди, как горная тропа, замок Ортенау, Маркграфский край. Целый день они провели в термах Баден-Бадена. Там был вход отдельный для женщин и отдельный для мужчин, им отдельно делали массаж, они отдельно потели в сухой финской и влажной римской жаре, затем встретились в обрамленном колоннами центральном зале старых терм в бассейне под высоким куполом. Он еще никогда не видел ее идущей к нему абсолютно обнаженной. Как она была прекрасна – длинные черные волосы, ясное лицо, округлые плечи, полные груди, певучие бедра, чуть короткие, но прекрасной формы ноги. Как грациозно она шла – гордая своей красотой и одновременно смущенная, что он так открыто разглядывает ее. Как мило она улыбалась, иронично, так как знала толк в иронии, счастливая тем, что ею откровенно восхищаются, и исполненная любви.

В городах, где они бывали, она иронизировала над тем, как обстоятельно немцы описывали разрушения, которые принесла им Вторая мировая война.

– Да война уже пятьдесят лет как закончилась! Гордитесь тем, что в итоге вы и так стали самыми великими в Европе.

Проходя по пригородам, она иронизировала над маленькими белыми домиками с ухоженными садиками и аккуратными заборами, а когда они ехали по сельской местности, иронизировала над тем, что вокруг нет никакого хлама, ржавеющих автомобилей и изъеденных молью диванов, как это часто видишь в Америке возле небольших ферм.

– У вас все выглядит так, будто только что отстроено.

Ее сместила разметка на дорогах, она все время указывала Анди на ту тщательность, с которой граница парковки обозначалась заштрихованным треугольником, а здесь водителю, делающему поворот, проезд через перекресток указывался пунктирными линиями, а водителю, едущему по встречной полосе, – крестиками.

– Надо бы освободить ваши дороги от автомобилей и сфотографировать с воздуха – получились бы настоящие шедевры!

Сара говорила все это с улыбкой, и ее улыбка как бы приглашала его посмеяться вместе с ней. Он знал, что ирония была для нее способом познавать мир и что в Нью-Йорке она подсмеивалась над соотечественниками с не меньшим удовольствием – над дирижерами, хотя была в восторге от концерта, над слащаво-безвкусным фильмом, а потом плакала после его просмотра, и даже на следующий день при воспоминании о нем в глазах у нее блестели слезы. Она иронизировала даже над бар-мицвой младшего брата и одновременно волновалась за него, когда он читал в синагоге молитву и за обедом говорил о Торе и о своей любви к музыке. Анди обо всем этом знал, но тем не менее тяжело воспринимал ее иронию, для которой не было запретных тем. Он улыбался вместе с ней, но при этом мускулы его лица были напряжены.

В Берлине они жили у его дяди, который унаследовал виллу в Грюневальде и отдал в их распоряжение свою небольшую квартиру со спальней, гостиной, кухней и ванной. Однажды он пригласил их на обед, который приготовил сам, а в остальном не мешал им, полностью предоставляя самим себе. Но однажды вечером, когда уже собрались ехать в Ораниенбург, они столкнулись с ним в дверях.

– Ораниенбург? Что вам надо в Ораниенбурге?

– Посмотреть, как это было.

– А как это должно было быть? Точно так, как ты это себе представляешь, и именно потому, что представляешь. Я был пару лет назад в Освенциме, там нечего смотреть, ну абсолютно нечего. Несколько кирпичных барачков, между ними трава и деревья. И это все. Остальное вы додумываете, оно у вас в голове. – Дядя, учитель на пенсии, смотрел на них удивленно и сочувственно.

– Вот мы и проверим, что у нас в головах. – Анди засмеялся. – Давайте сделаем из этого познавательно-теоретическую проблему.

Дядя покачал головой.

– Ну, что ты так. Война закончилась пятьдесят лет назад. Не понимаю, почему мы все время берем прошлое. Почему мы не можем перестать мусолить это прошлое, равно как и любое другое.

– Может быть, потому, что это особое прошлое? – Сара задала вопрос по-английски, но, к удивлению Анди, поняла разговор, происходивший на немецком.

– Особое прошлое? У каждого народа есть свое прошлое, которое он считает особенным. Несмотря ни на что, прошлое, обыкновенное и особое, творят люди.

– Да, для моих родственников как раз немцы и сотворили это самое «особое» прошлое. – Сара холодно посмотрела на дядюшку.

– Конечно, это было ужасно. Ну так что, из-за этого жители Ораниенбурга, Дахау или Бухенвальда должны иметь ужасное настоящее? Люди, которые родились много лет спустя после войны и которые никому ничего не сделали плохого? Потому что особое прошлое места, где они живут, вспоминается и ставится им в вину? Но к чему все это? Твоя подруга – американка, а для американских туристов Европа нечто иное, чем для нас. Вы пойдете в итальянский ресторан, что там на углу? Приятного вам аппетита.

Сара молчала, пока они не нашли столик и не сели.

– Надеюсь, ты не такого же мнения, как твой дядюшка?

– Какого такого же мнения?

– Что не нужно беречь прошлое и что его не бредили бы, если бы евреи всех не накручивали.

– Разве не ты говорила, что война вот уже пятьдесят лет как закончилась?

- Понятно. То есть ты того же мнения.
- Нет, я не того же мнения, что мой дядя. Но все не так просто, как тебе кажется.
- И насколько же это сложно?
- У Анди не было никакого желания вступать с Сарой в дискуссию.
- Нам обязательно об этом говорить?
- Ответь только на этот вопрос.

– Насколько это сложно? О прошлом нужно помнить, чтобы оно не повторялось, о нем нужно помнить, потому что этого требует уважение к жертвам и их детям; холокост, как и война, был пятьдесят лет тому назад; какая бы вина ни лежала на поколениях отцов и детей, поколению внуков не в чем себя винить; кто, находясь за границей, скажет, что он из Ораниенбурга, тому не позавидуешь; молодежь называют неонацистами только потому, что им надоело слушать про «немецкую вину», – правильно все это воспринимать, я считаю, совсем не просто.

Сара молчала. Подошел официант, они сделали заказ. Сара продолжала молчать, и Анди увидел, что она тихонько плачет.

– Эй, – сказал он, наклонился к ней через стол и обнял за шею. – Ты ведь не из-за нас плачешь?

Она замотала головой.

– Я знаю, что ты не хотел меня обидеть. Но все это совсем не сложно. Истина всегда проста.

## 7

Анди не хотел признаться себе, но в Ораниенбурге действительно чувствовал себя так, как предсказывал дядя. То, что он видел, не потрясало. Потрясало то, что происходило с ним. Вот это действительно потрясало. Сара и Анди молча шли по лагерю. Через некоторое время они взяли за руки.

Вместе с ними в лагере был класс школьников, мальчики и девочки лет двенадцати-тринадцати. Вели они себя так, как и положено двенадцатилетним детям, – шумели, хихикали, орали. Они больше интересовались друг другом, чем тем, что рассказывал и объяснял им учитель. То, что они видели, было для них поводом покрасоваться друг перед другом, смутить или рассмешить. Они играли в тюремщиков и заключенных, громко стонали в камерах, как будто их пытаются или они умирают от жажды. Учитель очень старался, то, что он говорил, доказывало – к экскурсии в лагерь он подготовился основательно. Но все его усилия были напрасны.

Неужели Сара воспринимает нас так же, как я воспринимаю этих детей? Нет, я не против, что дети ведут себя, как и положено детям, и тем не менее они кажутся мне невыносимыми. Ничего не возразишь против того, что отец на войне обнаружил в себе организационную жилку и что дядя хочет, чтобы его оставили в покое, а я подхожу к рассмотрению возникающих сложностей дифференцированно, по принципу: «с одной стороны – с другой стороны», и тем не менее это приводит меня в отчаяние. А что бы я чувствовал, если бы среди этих детей был мой собственный ребенок?

Анди был рад, что в этот вечер не встретил дядю. Он радовался, что на следующий день они поедут посмотреть на новый Восточный Берлин, получат новые впечатления. Когда рухнула Берлинская стена, он работал в Берлине, хотел опять переехать туда, хотел, чтобы Сара разделила его восторг от города. Он был рад показать ей многие грани этого города – ты увидишь, говорил он ей, Берлин – это почти как Нью-Йорк. Но когда он представил себе, как будет осматривать с ней строительные площадки на Потсдамер-плац, на Фридрихштрассе, в районе рейхстага и вообще на каждом шагу наткаться на новостройки, он знал, что скажет Сара, а если не скажет, то подумает. Почему у вас все должно быть готово буквально завтра и выглядеть так, будто у города нет истории? Как будто время не оставило на его лице ни ран, ни шрамов. Почему холокост должен быть погребен под

памятником жертвам холокоста? Он попытается объяснить, и то, что он скажет, будет разумным и правильным, но все же ей это будет неприятно.

Есть ли здесь четкий водораздел? Мужчина ты или женщина, ребенок или взрослый? Немец или американец, христианин или иудей? Есть ли смысл говорить об этом, хотя это и помогает понять другого, но не помогает быть терпимым к нему, потому что главное – это терпимость, а не понимание. А что касается терпения, что же, терпят только себе подобных? Конечно, с различиями можно справиться, без них ведь вообще не обойтись. Но должны же быть какие-то рамки? Хорошо ли это будет, если мы в этом нашем различии начнем принципиально сомневаться даже внутренне?

И едва он сформулировал для себя этот вопрос, сразу же испугался. Терпеть только себе подобных – разве это не расизм, шовинизм или религиозный фанатизм? Дети и взрослые, немцы и американцы, христиане и иудеи – почему они должны не переносить друг друга? Они терпят друг друга повсюду в мире, во всяком случае, повсюду там, где мир таков, каким должен быть. Но потом он спросил себя, а может, они терпят друг друга потому, что тот или иной представитель своего народа перестает быть тем, кто он есть изначально? Потому что дети становятся взрослыми, немцы выглядят и думают как американцы, а евреи – как христиане? Что же, расизм или религиозный фанатизм начинаются там, где стремятся сохранить себя? Что если я не захочу ради Сары стать американцем и евреем?

Следующий день оказался таким, каким он себе его и представлял заранее. Сара интересовалась всем, что он показывал, восхищалась строительством на Потсдамер-плац, тем, как решительно меняют свой облик Фридрихштрассе и район вокруг рейхстага. Но она все-таки спросила его о ранах и шрамах – почему город не хочет больше жить с ними, – и о погребавшем холокост памятнике жертвам холокоста. Она спросила, почему немцы не выносят хаоса и не в этой ли патологической тяге к чистоте и порядку времен национал-социализма нашла душа немецкой нации пусть и аномальный, но все же свой характерный способ самовыражения. Анди не нравились ее вопросы. Но через минуту еще больше, чем ее вопросы, ему не понравились собственные ответы. Ему надоело изрекать взвешенные дифференцированные суждения. Ведь, собственно, ему и самому не нравилось то, что он показывал Саре, эта имперская кичливость, спешка, с которой все достраивалось и застраивалось. Сара была права: почему он сражается за принципы, в которые сам не верит? Почему то, что сказал дядя, он использовал как повод для построения сложных умозаключений, вместо того, чтобы просто сказать: да, это возмутительно и обидно?

Вечером они поехали в филармонию слушать мессу си-бемоль Баха. Она была ему незнакома, в нем возникло чувство страха, которое всегда появляется у того, кто, будучи влюблен, разделяет с любимыми их увлечения – книги, музыку. Он боялся, что эта музыка может показаться ей слишком христианской и слишком немецкой, что у Сары возникнет чувство, будто эту музыку нужно слушать в церкви, а не в концертном зале, а вдруг она почувствует, что ее предали, что он хочет подсунуть ей свой церковный, христианский, немецкий мир. Он охотно поговорил бы с ней об этом. Но он боялся. Он должен был бы объяснить ей, почему он так любит музыку, но объяснить этого не смог бы. *Incarnatus est, crucifixus, passus et sepultus est et resurrexit* – этот текст ничего ему не говорил, но музыка, написанная на этот текст, волновала его и делала счастливым, как никакая другая. И разве Сара, если он ей об этом расскажет, не подумает, что различия между ними еще более существенны, чем подмеченные раньше, потому что они глубоко в нем и он сам не может постичь их природу и поведать ей о них?

Но когда они вышли из метро, Жандармский рынок уже нежился в мягких лучах заходящего солнца. Соборы и концертный зал, величественные и скромные, составлявшие триединое целое, были символами другого, лучшего Берлина, а так как магазины еще не закрылись и любители вечерних прогулок еще не вышли на улицы, было безлюдно и тихо, будто город переводит дыхание перед бурной ночью.

– О, – сказала Сара и остановилась. Во время исполнения мессы, когда в зале зазвучало «Господи, помилуй!», она оглянулась на него, потом закрыла глаза и взяла его руку. К концу

мессы ее голова лежала на его плече. *Et exspecto resurrectionem mortuorum.* – Да, – прошептала она ему, как будто ожидала вместе с ним воскресения из мертвых или освобождения от всех тех затруднений, в которые они все время попадали.

## 8

На следующий день они улетели в Нью-Йорк. Три недели подряд они не расставались, у них иногда возникало чувство обиденной и само собой разумеющейся доверительности, как будто так было всегда и будет продолжаться вечно. Никогда это чувство не было таким сильным, как во время обратного перелета. Оба знали, как каждому из них необходимы покой и сердечная близость, какие жесты дружеского внимания будут особенно дороги. По поводу фильма, который показывали во время полета, они немножко поспорили, потому что есть особая прелесть в ритуале спора по поводу предмета, лишённого взрывчатой энергии. Когда вечером после прибытия в Нью-Йорк он остался у нее, они слишком устали, чтобы любить друг друга. Но засыпая, она взяла в свою руку его плоть, которая в ее руке стала твердой и потом опять мягкой, и ему почудилось, что он вернулся домой.

Пылало лето. В Чайна-тауне и в итальянском квартале, в Виллидже, на Таймс-сквер и Линкольн-сквер, на Манхэттене бродили толпы прохожих, их было больше, чем обычно. Недалеко от Колумбийского университета, где жили Сара и Анди, было поспокойнее. Сюда редко навевались туристы, а студенты и профессора уже уехали за город. Дни стояли душные; через пару минут, проведенных на улице, одежда прилипала к телу. Вечером и ночью становилось чуть легче. Но теплый и влажный воздух, окутывающий тело, вызывал мягкое чувственное возбуждение. Анди не понимал, почему ньюйоркцы уезжают из города, лишая себя этих дивных вечеров и ночей. Так как он не переносил жужжания и шелеста кондиционеров в офисе, то работал на скамейке в парке. Работал до позднего вечера, закрепив на книге или стопке бумаги маленький аккумуляторный фонарик. Потом он шел к Саре, окрыленный своей любовью к ней, опьяненный работой, воздухом, мерцанием огней на асфальте. Воздух, вызывавший возбуждение, придавал его телу легкость: плотность воздуха уравнивала его собственную тяжесть. Ему казалось, что он парит в небе, легко и быстро скользит по Млечному Пути.

Ему бы доставляло удовольствие вечерами гулять с Сарой по парку или сидеть за одним из столиков, выставленных перед ресторанами на Бродвее, смотреть в кинотеатре или на видео какой-нибудь фильм. Но Сара, которая была болтушкой, после целого дня безмолвного сидения перед компьютером испытывала потребность поговорить. Ей не терпелось услышать, что он за сегодня прочитал и что написал, она спешила рассказать ему о своих успехах в работе над компьютерной игрой. Когда она занималась программированием, в голову ей приходили тысячи различных мыслей, которыми хотелось с ним поделиться. Он же концентрировался на работе и не мог между делом думать о посторонних вещах, да и вечером не в состоянии был говорить ни о чем, кроме своей работы. Но говорить о работе не хотел. Он хотел избежать риска спора, к которому привел однажды подобный разговор. В своей работе он имел дело с теми представлениями о правопорядке, которые были разработаны в американских утопических проектах, начиная от воззрений шейкеров, раппистов, мормонов и гутеров до социалистов, вегетарианцев и приверженцев свободной любви. Анди считал свою тему невероятно увлекательной. Он находил удовольствие, знакомясь с утопическими программами, выискивая письма, дневники и воспоминания утопистов и узнавая из пожелтевших газет, как воспринимал их окружающий мир. Иногда утопические проекты были трогательны, как вылившееся в реальную форму коллективное донкихотство. Иногда ему казалось, что утописты осознавали всю тщетность своих предприятий и лишь хотели придать героическому нигилизму черты творческого коллективизма. Иногда они казались ему такими мудрыми детьми-старичками, живущими тем, что смеются над обществом. Когда он рассказал Саре о своей теме и о своем восхищении утопией, она подумала и сказала:



– Это ведь так по-немецки, не правда ли?

– Тема «Американские утопические проекты»?

– Восхищение утопией. Восхищение переводом хаоса в космос, восхищение совершенным порядком, чистым обществом. Может быть, даже восхищение тщетностью происходящего, помнишь, ты рассказывал мне об одном из ваших сказаний, в конце которого все вместе, героически все отрицая, принимают смерть? Нибелунги?

Анди реагировал не на ее аргументы, а на агрессию, и пытался защищаться:

– Но по моей теме гораздо больше американской литературы, чем немецкой, а что касается коллективного самоубийства, то неужели американцы своим Литтл Бич Хорном или евреи своей Масадой гордятся меньше, чем немцы Нибелунгами?

– Да, меньше. Нибелунги – ваш главный эпос, так ты мне рассказывал. Литтл Бич Хорн и Масада – это только эпизоды в истории. И дело даже не в числе публикаций. Я знаю американскую литературу; это истории о том или ином утопическом эксперименте, о людях, их семьях, работе, радостях и горестях, истории, написанные вдохновенно и сочувственно. Немецкая литература – серьезная и основательная, она образует категории и строит системы, и страсть, которая в ней чувствуется, – это холодная страсть ученого-естествоиспытателя, вскрывающего тело скальпелем.

Анди отрицательно покачал головой.

– Это различные научные стили. Знаешь анекдот, в котором француз, англичанин и русский представляют научную работу о слоне? Француз пишет о «Слоне и его любовницах», англичанин – «Как охотиться на слона», а русский...

– Я не хочу слушать твой глупый анекдот. – Сара встала и пошла в кухню. Он слышал, как она резкими движениями открывает посудомоечную машину, вынимает посуду и стаканы, как приборы звенят, ударяясь о стол. Она вернулась и остановилась в дверях. – Мне не нравится, когда ты подшучиваешь надо мной, в то время как я серьезно с тобой разговариваю. Дело здесь не в научных стилях. Даже когда ты не занимаешься наукой, а разговариваешь с моими друзьями и моей семьей, ты демонстрируешь не участие, во всяком случае не то, что мы понимаем под участием, а анализирующее, препарирующее любопытство. Это не плохо. Просто ты такой, и таким мы тебя любим. В других обстоятельствах и в другом окружении ты полон участия. Только вот в разговоре...

– Не хочешь же ты сказать, что то, что я встречаю со стороны твоих друзей и твоей семьи, можно назвать участием? Это, в лучшем случае, любопытство, и притом абсолютно поверхностное. Я...

– Не вали все в одну кучу, Анди. Мои близкие смотрят на тебя с любопытством и участием, как и ты на них, и все, что я сказала...

– Прежде всего, они по отношению ко мне полны предрассудков. Чего вы только не знаете о немцах. И, следовательно, вы все знаете обо мне. Так что я вам вовсе не интересен.

– Мы тобой недостаточно интересуемся? Не так, как ты нами? Почему так часто у нас возникает чувство, что ты ощупываешь нас острыми кончиками пальцев? И почему это леденящее чувство возникает у нас только при общении с немцами? – Она почти кричала.

– Скольких немцев ты вообще знаешь? – Он понимал, что спокойный тон, которым задан вопрос, раздражает ее, но не мог ничего с собой поделать.

– Достаточно, и к тем, с которыми мы с удовольствием познакомились, следует прибавить тех, с которыми мы бы вообще не познакомились, но вынуждены были это сделать. – Она продолжала стоять в дверях, уперев руки в бедра, и смотрела на него с вызовом.

О чем она говорит? С кем она его сравнивает? С доктором Менгеле и его холодным, ужасным, препарирующим и анализирующим любопытством? Он покачал головой. Он не хотел спрашивать, кого она имеет в виду. Он не хотел ничего говорить и ничего слушать, хотел только покоя, лучше всего, если вместе с ней, но лучше уж без нее, если покой с ней невозможен.

– Мне очень жаль. – Он начал обуваться. – Давай завтра позвоним друг другу. Я сейчас

пойду к себе.

Он остался. Сара была настойчива, он просто не смог уйти. Но он решил никогда больше не говорить с ней о своей работе.

## 9

Так он кромсал свою любовь на все более мелкие лоскутки. Он запретил себе говорить о семье, о Германии, об Израиле, о немцах и евреях, о его и даже о ее работе, потому что с ее работы разговор неминуемо переходил на его работу. Он привык подвергать цензуре все, что говорил; молчал и вообще не упоминал о том, что ему не нравилось в нью-йоркской жизни, молчал и тогда, когда считал суждения ее друзей о Германии и Европе неверными и высокомерными. Было много другого, о чем можно было разговаривать, была интимная атмосфера совместных уик-эндов и страсть их пламенных ночей.

Он привык к этой самоцензуре настолько, что почти ее не ощущал. Он наслаждался тем, что их совместное житье стало легче и прекраснее. Он радовался продлению стипендии на пребывание в Америке. Прошлой осенью и весной он, только приехав в Нью-Йорк, чувствовал себя одиноким. Следующие осень и зима станут для него счастливыми.

И вдруг все началось сызнова, причем по самому незначительному поводу. У Сары все свитера и колготки были с дырками. Ей это было все равно. Анди однажды обратил ее внимание на дыру, но она дала ему понять, что он не должен делать ей замечания. Но когда они однажды вечером собирались в кино и она переодевалась, на обоих рукавах свитера и на пятках колготок зияли дыры. Анди рассмеялся и сказал Саре об этом.

– Что смешного в моих дырках?

– Забудем об этом.

– Ответь мне, почему это мои дырки тебе столь интересны и забавны, что ты мне тычешь в нос их и смеешься над ними?

– Я... Мне что... – Анди пару раз пытался начать ей объяснять: – У нас это делают так. Когда видят дырку или пятно на чьей-то одежде, то говорят об этом ее владельцу. Считается, что он не надел бы вещь, если бы знал, что на ней дырка или пятно, и теперь он доволен, что знает это, и не наденет вещь с такими дефектами.

– Ага. Это что касается интересного в данной проблеме. А теперь, что же тут смешного?

– О Господи, Сара. Сразу четыре дырки, вот это смешно.

– А что, дырки тоже кажутся смешными, если кто-то так мало зарабатывает, что не может себе позволить быть привередливым в одежде?

– Заштопать дырки ведь не стоит больших денег. И это не ахти какое сложное дело. Даже я штопаю себе носки.

– Да, для тебя главное – порядок.

Он пожал плечами.

– Да, для тебя это главное. Тина бы сказала, что в тебе говорит нацист.

Он немного помолчал и сказал:

– Мне очень жаль, но я не могу больше этого слышать. Нацист во мне, немец во мне – просто не могу больше слышать и все.

Она ошарашенно посмотрела на него.

– Что случилось? Почему ты так бурно реагируешь? Я знаю, ты не нацист, и не ставлю тебе в упрек, что ты немец. Забудь Тину...

– Не только Тина ищет и находит во мне нациста, это делают и другие твои друзья. И что значит, ты не ставишь мне в упрек, что я немец? В чем таком можно меня упрекнуть, в чем ты меня столь великодушно изволишь не упрекать?

Она покачала головой.

– Тебя не в чем упрекать. Этого не делаем ни я, ни мои друзья. Ты знаешь, они тебя любят, и Тина с Этаном приглашают нас летом поехать к морю – ты же не думаешь, что она

хотела бы этого, если бы считала тебя нацистом? И людям, которые встречаются с тобой, интересно, что ты немец, они задают себе вопрос, насколько ты немец и что в тебе есть присущего только немцам и плохо ли это – ведь для тебя это не новость?

– Тебя это тоже интересует?

Она посмотрела на него удивленно и нежно.

– Э, мой дорогой! Ты же знаешь, какое удовольствие доставляют мне музыка и книги, которые нравятся тебе, и как я была счастлива с тобой во время путешествия по Германии. Я люблю тебя вместе со всем тем прекрасным, что ты принес в мою жизнь, даже с немецкой частью этого прекрасного. Ты что, забыл? Уже через три дня я влюбилась в тебя по уши, несмотря на то, что ты немец.

– Ты не понимаешь, что меня беспокоит?

Она смотрела на него нежно и встревоженно. И медленно качала головой.

– Как бы ты себя почувствовала, если бы я сказал, что люблю тебя, несмотря на то, что ты еврейка? А мои друзья ищут в тебе еврейское? И они думают, это нехорошо, что я имею дело с еврейкой, но тем не менее прекрасно к тебе относятся? Ты не посчитала бы все это антисемитским бредом? И почему трудно понять, что германофобские предрассудки я считаю таким же бредом, даже если женщина, которую я люблю, и ее друзья...

– Как ты можешь, – она дрожала от возмущения, – сравнивать эти две вещи? Антисемитизм... евреи никому ничего плохого не сделали. Немцы уничтожили шесть миллионов евреев. И то, что это кого-то интересует, когда он имеет дело с одним из вас, – о, какой ты наивный. Или, может, бесчувственный и самовлюбленный? Вот уж скоро год, как ты живешь в Нью-Йорке, и хочешь сказать, не знаешь, что холокост еще жив в памяти людей?

– Но я-то...

– Какое ты имеешь отношение к холокосту? Ты – немец, и, значит, имеешь к нему прямое отношение. И это интересует людей, даже если они слишком вежливы, чтобы спросить тебя об этом. Они слишком вежливы, и, кроме того, они считают, тебе не нужно на это указывать, потому что ты сам все знаешь. И это не означает, что они не оставляют тебе никакого шанса.

Она провела рукой по обивке дивана, на противоположных концах которого они сидели, она, скрестив ноги, он, поставив ноги на ковер и повернув к ней голову. Он разгладил складки на обивке, собрал новые складочки в форме звездочек, вновь разгладил. Встал с дивана, заглянул ей в глаза, посмотрел на ее руки, сложенные на коленях.

– Не знаю, справлюсь ли я с тем, что ко мне прекрасно относятся и любят меня, несмотря на то, что я немец. Тебя возмутило мое сравнение с антисемитизмом. Я сейчас слишком устал, чтобы придумать другое, или слишком сбит с толку – ты, возможно, не понимаешь, но я действительно сбит с толку тем, что меня воспринимают не как реально существующую личность, а как некую абстрактную конструкцию, плод предрассудков, у которой есть шанс, но одновременно над ней тяготеет необходимость все время доказывать свою невиновность. – Он немного помолчал. – Нет, мне с этим не разобраться.

Она печально посмотрела на него.

– Если мы с кем-то встретились на своем пути – как мы можем забыть то, что знаем о его мире, о людях, которые его породили, с которыми он живет? Раньше я думала, речи типичных американцев, итальянцев или ирландцев шовинистичны. Но оно действительно есть, это типичное, и оно присутствует в большинстве из нас. – Она положила свою руку на его, которая продолжала на обивке дивана собирать и разглаживать складочки. – Ты сбит с толку? Ты должен понять: мои друзья и моя семья тоже сбиты с толку тем, что сделали немцы, и они спрашивают себя, что в этом преступлении было типично немецким и что из этого присутствует в том или ином нынешнем немце, в том числе и в тебе. Но они не приколачивают тебя к этому «типичному» крепкими гвоздями.

– Нет, Тина так и делает, и другие тоже. Ваши предрассудки ничем не отличаются от моих, в них есть чуть-чуть правды, чуть-чуть страха, они чуть-чуть облегчают вам жизнь, как

те ящички и полочки, по которым вы раскладываете человека. Вы всегда сможете найти во мне нечто, что подтверждает ваши предрассудки: либо то, как я одеваюсь, либо то, как я думаю, или, вот как сейчас, что я смеюсь над твоими дырами.

Она встала, подошла к нему и положила голову ему на колени.

– Я пытаюсь меньше рассматривать тебя с позиций моей культуры, исходя из которой твои выражения... – Она пыталась подобрать нужное слово, чтобы не дать их спору вновь разгореться, – кажутся странными, а больше с позиций твоей культуры. И эту твою культуру я хочу узнать получше.

– Золото ты мое! – Он наклонился, прижался головой к ее щеке, опустил руки ей на плечи. – Мне очень жаль, что я вспылел.

Она чудесно пахла, этот запах кружил ему голову. Они будут любить друг друга. Он радовался этому. Он смотрел на залитые светом окна дома напротив, видел, как там туда-сюда снуют люди. Они разговаривают, пьют, смотрят телевизор. Он представил себе, что о них думают люди из окна напротив. Двое поссорились и помирились. Влюбленные.

## 10

Когда приходит момент признаться себе, что очередная ссора – не просто ссора? Что это не гроза, после которой вновь засветит солнце, не холодное время года, за которым придет теплое, что это просто, как привычно плохая погода? И что примирение ничего не решает и ничего не дает, а только свидетельствует об усталости, означает более или менее продолжительное перемирие, после которого ссоры вспыхивают вновь?

Нет, говорил себе Анди. Я преувеличиваю. Иногда мы не ладим друг с другом и ссоримся, затем опять миримся, и у нас опять все в порядке. Двое любящих всегда то мирятся, то ссорятся, бывает, вообще не разговаривают. Так оно и должно быть. А как далеко заходят ссоры? Тут трудно установить границы. Ведь речь-то не о том, хорошо ли нам вместе или мы просто терпим друг друга. Мы терпим потому, что рядом родной человек, или, наоборот, не терпим, потому что – чужой. Тут вопрос в том, что считать главным – то, что нас разъединяет, или то, что объединяет?

Все утопии начинаются с обращения в другую веру. Люди прощаются с той религией, в которой воспитывались, прощаются с тем, во что верили и чем жили, чтобы однажды в неких утопических проектах обрести новую религию, новое мировоззрение, образ жизни. Это прощание и новое обретение и есть обращение в новую веру, оно не происходит внезапно, как гром среди ясного неба, как неожиданное пробуждение, экстаз или нечто подобное. Конечно, иногда и такое бывает. Но Анди был удивлен, увидев, что этот переход к утопии в большинстве случаев был результатом трезвого жизненного решения тех мужчин и женщин, которые выбрали эту утопию. Любовь, желание жить вместе и невозможность жить одновременно в нормальном мире и мире утопии, надежды на лучшую долю для детей, шансы на успешную карьеру для себя лично – вот что это такое. Недостаточно понимать восхищение утопией, испытываемое другими, и не надо его разделять с ними. А надо просто отказаться от нормального мира, в котором мы разделены друг с другом.

Однажды Анди спросил коллег, с которыми делил офис:

– Если взрослый мужчина хочет принять иудаизм, а сам еще не подвергся обряду обрезания, он обязательно должен его сделать?

Один из коллег выпрямился в кресле и облокотился на спинку.

– Это правда, что европейцы не подвергаются обрезанию?

Другой коллега продолжал сидеть, наклонившись над книгами.

– Конечно, должен. А почему нет? Авраам сам сделал себе обрезание, когда ему было девяносто девять лет. Но решившийся принять иудаизм не должен сам себе производить обрезание; это делает моголь.

– Это врач?

– Нет, не врач, но специалист. Верхняя крайняя плоть отсекается, нижняя подрезается,

кожа под головкой оттягивается, и кровь из раны слизывается – для этого врач не нужен.

Анди произвольно провел рукой между ног и положил ее на свой член, как бы защищаясь.

– Без анестезии?

– Без анестезии? – Коллега повернулся в его сторону. – Неужели ты думаешь, что мы способны на такую жестокость? Нет, обрезание взрослого мужчины проходит под местной анестезией. Нельзя представить себе еврейского сообщества, которое отказалось бы от обрезания. Правда, в XIX веке некоторые евреи хотели сделать это чисто символическим ритуалом или вообще отменить.

Анди спросил коллегу об источнике его познаний и узнал, что отец того был раввином. Он узнал также, что даже обращаемый в иудаизм, ранее уже обрезанный, подвергается своего рода символическому обрезанию.

– То, что уже обрезано, ты не можешь обрезать вновь. Но совсем без ритуала тоже не годится.

И тут Анди понял. Без ритуала не годится. А ради ритуала надо разрешить моголю под местной анестезией отсечь твою верхнюю крайнюю плоть и разрезать нижнюю, оттягивать кожу вокруг головки и зализывать рану, предоставлять свое тело на потребу ритуалу, позволить кому-то оголить твой член, тому, с кем тебя ничего не связывает – ни любовь, ни доверие пациента к врачу или приятельские отношения, – позволить ему ощупывать и калечить твою плоть, демонстрировать ее не только моголю, но и раввину и еще каким-то старейшинам, свидетелям, кумовьям. Ты стоишь с опущенными штанами или без штанов, в носках, и ждешь, когда ритуал закончится, а в это время действие анестезии ослабевает и вернувшийся в брюки член начинает болеть, а отрезанная окровавленная крайняя плоть лежит в ритуальной чаше – нет, к этому он не был готов. Если уж обрезание, то он сам себе его организует, так, чтоб не было стыдно и больно. Если уж становиться евреем, то после того, как это позади.

Анди подумал о крещении в купели, о монахинях и рекрутах, которым наголо стригут головы, о татуировке эсэсовцев и узников концлагерей, о клеймении скота. Волосы отрастут, татуировку можно вывести, а в купель тебя погружают, но потом вынимают. Что это за религия, где недостаточно символа посвящения, где посвящение должно оставить неизгладимый физический след? Посвящение, которое головой можно отвергнуть, но тело твое будет вечно хранить ему верность?

## 11

Об этом же спросил его друг-хирург. Анди посетил его сразу же по прибытии в Гейдельберг.

– Что это за религия такая, которая первым делом отрезает тебе твой стручок?

– Речь ведь идет только о крайней плоти.

– Я знаю. А если скальпель выскользнет... – Он состроил смешную гримасу.

– Оставь свои шуточки. Я люблю женщину, она любит меня. Но мы живем в двух разных мирах, которым не сойтись. Поэтому я и хочу перейти из своего мира в ее.

– Вот так просто?

– Немцы становятся американцами, протестанты католиками, а в синагоге я познакомился с одним негром, который принял иудаизм, а до того был адвентистом. Каким я был христианином – без веры, без молитвы, – таким я могу стать и иудеем. Я молюсь в церкви, смогу молиться и в синагоге. Служба в синагоге не менее прекрасна, чем в церкви. Ну а ритуалы, совершаемые дома, – знаешь, у меня дома их было не так много, а хотелось, чтобы было больше.

Его друг покачал головой.

– Вот. Либо она станет такой, как я, либо я стану, как она. Терпеть можно только себе подобных.

Они сидели в итальянском ресторане, в котором обычно встречались, будучи студентами. Среди официантов можно было заметить пару новых лиц, а на стенах – пару новых картин, но, в общем, ничего не изменилось. Как и прежде, Анди заказал себе салат, спагетти болонезе и красное вино, а его друг – суп, пиццу и пиво. Как и тогда, у его друга было такое чувство, что из них двоих он более трезвый и прагматичный и поэтому несет ответственность, к которой обязывает трезвый и прагматичный ум в общении с романтиками и утопистами. А с какими только идеями Анди не носился за все эти годы.

– Женщина, которая требует от тебя...

– Сара ничего от меня не требует. Она даже не знает, что я хочу пройти обрезание и что поэтому я здесь. Ей я сказал, что выступаю с докладом на конференции.

– Ну хорошо. Но что это за женщина, с которой ты даже не можешь поговорить открыто?

– Открытость предполагает наличие чего-то общего, что вас связывает. Нужно ступить на общую для вас почву, и тут не о чем толковать, тут нужно принимать решение.

Друг покачал головой.

– Представь себе, твоя подруга думает, что ты не хочешь ребенка, которого она ждет, идет и делает аборт, не поговорив с тобой. Ты же будешь страшно недоволен.

– Да, потому что в этом случае она забирает у меня что-то. А я не забираю у Сары ничего, я даю ей что-то.

– Ты этого не знаешь. А вдруг она любит твою крайнюю плоть? Может, она не разделяет твою странную теорию и хочет жить с тобой не потому, что ты такой же, как она, а другой. Может, она вовсе не расстраивается так, как ты, когда вы ссоритесь. Может быть, ей это нравится.

Анди смотрел на него печально.

– Я могу делать только то, что нахожу правильным. Ты находишь мою теорию странной – а я смотрю, как мне жить в прошлом, в настоящем, в большом и в малом. И я считаю, что моя теория – правильная.

– А тебя не смущает, что твое решение применить свою теорию на практике – ложно?

– Почему?

– Для Сары ты хочешь быть евреем, но то, что нужно сделать, чтобы стать им, тебе не всегда нравится. То тебе стыдно, то больно, причем чаще, чем необходимо, то тебе это не так, то другое. – Друг лукаво улыбнулся. – Я теперь понимаю, почему евреи придумали обрезание. Им не нужны слабаки, которые...

Анди рассмеялся.

– Им не нужны необрезанные слабаки, вот и все. Поэтому я и прошу тебя сделать из меня обрезанного слабака. Ну что, сделаешь?

Друг тоже рассмеялся.

– Представь себе...

Так они дискутировали, когда были студентами:

– Представь себе, что твой друг – террорист, его ищет полиция, и он просит тебя спрятать его. Представь себе, он хочет покончить с собой, его парализовало, ему нужна твоя помощь. Представь себе, твой друг признается тебе, что переспал с твоей подругой. Представь себе, что твой друг как художник пользуется успехом, – ты скажешь ему, что его картины плохие? Ты скажешь ему, что жена ему изменяет? Ты остановишь его, если он захочет совершить что-то плохое, хотя, вместе с тем, он делает много хорошего?

– Ты хочешь как можно скорее покончить с этим?

– Я хочу поскорее вернуться в Нью-Йорк, к Саре.

– Тогда приходи завтра в обед. Я сделаю тебе кратковременный наркоз, и когда ты проснешься, рана уже будет зашита, и швы не надо будет снимать, нитки просто растворятся внутри и остатки выйдут наружу. Время от времени надо будет накладывать заново повязку с мазью. Пантенол и бинт, вот и все. Через три недели ты снова в строю.

– Что это значит?

– Как что? То, что твой стручок снова будет функционировать!

## 12

Операция была не очень тяжелой. Боли после нее были терпимыми, а через несколько дней вообще прошли. Но Анди постоянно осознавал, что его член, часть его самого, был частью израненной и находящейся под угрозой. Он требовал его внимания постоянно: и когда Анди делал перевязку, и когда осторожно прятал его в брюки, ощущал болезненность его при всех неловких движениях и касаниях и старался уберечь его от них.

Он был в своем родном городе, где вырос, работал до отъезда в Нью-Йорк и снова будет работать после возвращения. Он жил у родителей, которые были рады видеть его дома и не слишком его беспокоили, он встречал своих коллег и друзей, и начатый когда-то разговор возобновлялся с тех слов, на которых прервался до его отъезда. Иногда он встречал своих школьных друзей, бывшего учителя или старую подружку, они не знали, что он отсутствовал целый год и скоро опять уедет, здоровались с ним, будто он и не покидал их. В родном городе он чувствовал себя как рыба в воде.

Но при этом не исчезало ощущение, что его выбросило на берег, что он прибыл куда-то в чужое место, что этот город и земля с ее горами, рекой и равниной – больше уже не его родина. Улицы, по которым он ходил, вызывали массу воспоминаний; вот подвальное окошко, здесь когда-то с другом он играл в бабки, вот на въезде на дорогу, будка для велосипедов, под крышей которой он стоял в дождь со своей первой подружкой и целовал ее, а вот тут, на перекрестке, по пути в школу, он заехал на велосипеде на трамвайные рельсы и упал, а вот здесь, за стеной парка, одним воскресным утром мать учила его писать акварельными красками. Он мог написать город кистью своих воспоминаний и красками своего бывшего счастья, своих ушедших надежд и своей прошлой грусти. Но он уже не смог бы, как раньше, вписаться в эту картину. Если бы он даже захотел или воспоминания поманили бы его начать жить в единстве прошлого и настоящего, которое и есть родина, то непроизвольное касание брелока с ключами, бумажника в кармане брюк вызывали в памяти нечто совсем другое: обрезание, а с ним и вопрос о том, где теперь его место.

В Нью-Йорке? В синагоге Кехилат-Ешурун? Рядом с Сарой? Он звонил ей каждый день после обеда, когда в Нью-Йорке было раннее утро и она еще лежала в постели или завтракала. Он придумывал детали, касающиеся якобы конференции, рассказывал о прогулках, о встречах с друзьями и коллегами, о родственниках, с которыми она познакомилась на мраморной свадьбе. «I miss you», говорила она и «I love you», и он говорил «I miss you, too» и «I love you, too». Он спрашивал, что она делает и как у нее дела, а она рассказывала о собаках их соседей, о теннисном матче со своим бывшим профессором и о той коварной и лицемерной игре, которую затеяла в издательстве женщина, работавшая над другой компьютерной игрой. Он понимал каждое ее слово и в то же время не понимал ничего. Все свое понимание полунамеков, иронии, издевок и серьезности ньюйоркцев он оставил в Нью-Йорке. Или, может, это понимание ему отрезали вместе с крайней плотью? Наверное, то, что говорила Сара, было приправлено небольшой долей иронии. Она всегда чуть-чуть иронизировала. Чего она хотела этим добиться?

В Нью-Йорке, работая, он часто фантазировал, как они с Сарой занимаются любовью. Эти фантазии не мешали ему думать и писать. Но когда он домысливал что-то до конца или записывал предложение, он поднимал глаза, видел дождь и представлял себе, что занимается с Сарой любовью, слушая шум дождя, или, сидя на скамейке в парке и глядя на детей, представлял, как занимается с Сарой любовью и делает ей ребенка, или он видел женщину, прислонившуюся к стене спиной к нему и смотревшую на Гудзон. Он представлял себе, что это Сара, он подходит к ней сзади, поднимает ей юбку и входит в нее. Когда он уставал, то представлял себе, как они засыпают после того, как займутся любовью, как его живот будет прижиматься к ней сзади, а его рука будет лежать между ее грудей, окутанная запахами любви. Но и эти свои фантазии он оставил в Нью-Йорке, потому что эрекция, которую они

вызывали, причиняла боль.

Или все и должно быть так? Может, это нормально, что старую родину он уже покинул, а с новой еще не определился? Что тот, кто переходит на другую сторону, как на фронте, должен пройти через ничейную полосу?

### 13

Самолет, летевший через Атлантику, тоже был ничейной полосой. Ты ешь, пьешь, просыпаешься, валяешь дурака или работаешь, но что бы ты ни делал, это все ничто, пока самолет не приземлится и ты не ступишь на землю.

Лишь когда ты вернешься на твердую землю вместе со своей сытостью, покоем, сделанной работой, только тогда ты реально существуешь. И Анди нисколько бы не удивился, если бы самолет разбился.

В Нью-Йорке из прохлады аэропорта он окунулся в тяжелый горячий воздух. Было шумно. Машины шли сплошным потоком, такси гудели, и регулировщик с помощью своего пронзительного свистка наводил порядок в этом хаосе. Анди посмотрел, нет ли Сары, хотя она ему сказала, что не будет его встречать, в Нью-Йорке вообще никто никого не встречает в аэропорту. В такси было душно, когда окно было закрыто, и дуло, когда он его открывал.

– Поймай такси и приезжай ко мне как можно скорее, – сказала Сара.

Собственно, такси он не мог себе позволить. Он не понимал, почему он должен приехать как можно скорее. А что будет, если он приедет на час позже? Или на три, или на семь? Или на день? Или на неделю?

Сара купила цветы, большой букет красных и желтых роз. Она поставила охлаждаться шампанское, застелила свежие простыни. Она ждала его, одетая в мужскую рубашку с короткими рукавами, которая заканчивалась чуть ниже пояса. Она выглядела обольстительно, и она начала обольщать его еще прежде, чем он успел почувствовать страх, как оно будет у них в первый раз после обрезания: страх, что будет больно, что ощущения будут не те, хуже – что у него ничего не получится.

– I missed you, – сказала она. – I missed you so much.

Она не заметила, что он прошел обрезание. Ни во время их близости, ни тогда, когда он голый открывал бутылку шампанского и принес полные бокалы в постель, ни когда они вместе принимали душ. Они пошли поужинать, а потом в кино, возвращались домой по сверкающему асфальту. Она была для Анди такой близкой – ее голос, ее запах, ее бедра, на которые он положил руку. Что, сейчас они стали друг другу ближе, он больше принадлежал ей, ее миру, этому городу, этой стране?

За ужином она рассказывала о путешествии в Южную Африку, куда собиралась поехать вместе со своим заказчиком. Она спросила, не хочет ли он сопровождать ее. Он сожалел, что не посетил ту ЮАР – страну апартеида, мир, свидетелем которого он был и который безвозвратно ушел. Она посмотрела на него, и он понял, о чем она подумала. Но он отметил, что это ему было безразлично. Он начал искать в себе бывшее возмущение, былую потребность возражать и все расставлять по полочкам. Искал и не находил ничего. Она ничего не сказала.

Перед тем, как уснуть, они лежали, повернувшись друг к другу. Он видел ее лицо в белом свете фонаря.

– Я прошел обрезание.

Она схватила рукой его орган.

– Ты что, был... нет, ты... или... Ой, ты меня совсем сбил с толку. Почему говоришь, ты прошел обрезание?

– Просто так.

– Я не думала, что ты это сделаешь. Но тогда... – Она покачала головой. – У вас ведь это не принято, ведь так?

Он кивнул.



– Раньше мне было интересно, как чувствует меня мужчина, не прошедший обрезания, по-другому, лучше или хуже. Моя подруга сказала, что никакой разницы, а я не знала, верить ей или нет. Потом я сказала себе, что чувство, которое испытываешь с мужчиной, не прошедшим обрезания, не такое уж сильное, потому что другое чувство, если оно есть, может зависеть от самых разных причин. А как же по-другому хороши мужчины с обрезанием! Как ты хорош!

Он кивнул.

На следующее утро он проснулся в четыре часа. Он хотел опять уснуть. Но не смог. Там, в Германии, было десять утра и всюду светило солнце. Он встал и оделся. Открыл дверь комнаты, выставил свою обувь и багаж в коридор и почти бесшумно закрыл дверь, так что замок лишь слегка щелкнул. Потом надел туфли и вышел.

## **СЫН**

### **Перевод В. Подмиогина**

#### **1**

После того, как мятежники обстреляли аэропорт и попали в пассажирский самолет, гражданские воздушные перевозки были прекращены. На американском военном самолете, белом с синими опознавательными знаками, прибыли наблюдатели. Их встретил эскорт солдат и офицеров и провел через длинные переходы и большой зал, мимо замерших ленточных транспортеров, закрытых билетных стоек и пустых магазинов. Огни рекламы погасли, информационные табло были немые. Большие окна в человеческий рост были заставлены мешками с песком, в некоторых не было стекол. Под ботинками наблюдателей и сопровождающих осколки стекла и песок на полу слегка похрустывали.

Перед входом в здание аэропорта их ждал небольшой автобус. Двери были открыты, туда и провели наблюдателей. Как только последний из них вошел в автобус, два джипа пристроились к нему спереди, а два грузовика с солдатами – сзади, и кортеж с большой скоростью рванул вперед.

– Добро пожаловать, господа. – В пожилом мужчине с седыми шевелюрой и усами, стоявшем в проходе между передними сиденьями и державшемся за спинки, наблюдатели узнали президента. Он был живой легендой. В 1969 году он был избран на этот пост, а через два года свергнут военными. Он не уехал из страны, а позволил посадить себя в тюрьму. В конце семидесятых, под давлением американцев, его перевели под домашний арест, а в восьмидесятых он уже работал адвокатом и организовывал оппозицию. Когда повстанцы и военные вынуждены были начать мирные переговоры, они договорились вновь назначить его президентом. Никто не сомневался, что предстоящие свободные выборы утвердят его в этой должности.

Кортеж достиг пригородов столицы: хижины из досок, листы полиэтилена и картона, кладбище, где люди жили в склепах, а надгробные памятники использовались как фундаменты для лачуг, хибарки с крышами из гофрированной жести. По улице сновали мужчины, женщины и дети с емкостями для воды. Воздух был обжигающе горячим и сухим, на всем, даже на асфальте шоссе лежал слой песка, и кортеж машин вздымал его вверх. Спустя некоторое время стекла автобуса помутнели. Президент говорил о гражданской войне, о терроре и о мире.

– Тайна мира – в смертельной усталости. Но когда же все наконец смертельно устанут? Давайте радоваться, что большинство людей смертельно устало. Но не до самой последней точки. И эти смертельно уставшие люди должны помешать воевать другим, тем, которые хотят продолжать воевать. – Президент устало улыбнулся. – Мир – это невероятное состояние. Поэтому я и попросил прислать миротворческий контингент, двадцать тысяч человек. Вместо миротворцев приезжаете вы, двенадцать, чтобы пронаблюдать, так ли идет

процесс создания смешанных подразделений, по правилам ли проводятся выборы губернаторов, восстанавливаются органы гражданского управления. – Президент переводил взгляд с одного лица на другое. – С вашей стороны это мужественный поступок, приехать сюда. Спасибо вам. – Он вновь улыбнулся. – Знаете, как именует вас наша пресса? Двенадцать апостолов мира. Да благословит вас Бог!

Они были в самом сердце города. Он раскинулся на краю долины: две улицы со старым собором, зданиями парламента, правительства и Верховного суда, постройки девятнадцатого века, современные офисы, магазины, жилые дома. Президент попрощался. Автобус поехал дальше. Показался подъезд к Хилтону. Стена гостиницы, примыкающая к горе, демонстрировала следы обстрела и заколоченные досками окна. В парке мешки с песком обозначали воинские позиции.

Директор гостиницы сам вышел их встречать. Он попросил извинения, что не все еще функционирует так, как хотелось бы. Только за несколько дней до этого военные покинули гостиницу. Однако номера в прекрасном состоянии.

– И широко откройте балконные двери! Ночью будет прохладно, цветы в нашем саду так приятно пахнут, а москиты все остались на побережье. И кондиционеры, которые, правда, пока не работают, вам не понадобятся.

## 2

Ужин подали на террасу. Наблюдатели сидели за шестью столами, по числу провинций в стране. Вместе с отвечающими за провинцию двумя наблюдателями за столом сидел офицер, представитель местных военных властей, и командир тамошних повстанцев. Температура воздуха, как и обещал директор, была вполне терпимой. Сад благоухал, время от времени глупые ночные мотыльки вспыхивали в пламени свечей.

Наблюдатель от Германии, профессор международного права, был включен в состав группы в самую последнюю минуту, заменив кого-то другого. Он уже работал для различных международных организаций, заседал в комитетах, составлял отчеты, разрабатывал соглашения. Но непосредственно в местах событий он еще ни разу не работал. Почему он избегал этого? Потому что наблюдатель – функция не престижная, он не может повлиять на ход происходящего. Отчего же сейчас он настоял, чтобы его включили? Не потому ли, что казался сам себе шарлатаном, сталкивающимся с действительностью лишь за письменным столом, а в реальной жизни бегущим от нее? Он был самым старшим по возрасту среди наблюдателей и устал от перелетов через Атлантику и Мексиканский залив, от споров со своей подругой в Нью-Йорке, продолжавшихся всю ночь в перерыве между этими двумя перелетами.

Его напарником был канадец, инженер и бизнесмен, который поставил свое дело так, что оно и без него работало как часы, и теперь подвизался в некоей правозащитной организации. Поняв, что офицер и команданте, с которыми они должны были отправиться в северную из двух приморских провинций, мало интересуются рассказами о его предыдущей работе в качестве наблюдателя, канадец вытащил из кармана бумажник и выложил на стол фотографию жены и четверых своих детей.

– А у вас есть семьи?

Офицер и команданте удивленно и несколько смущенно переглянулись, не зная, что ответить. Но затем полезли за бумажниками. Офицер достал свадебную фотографию – он в черном парадном мундире, белых перчатках, его жена в белом платье с бантами и шлейфом, оба серьезные и грустные. Была у него и фотография детей; они сидели рядом на двух стульях, дочка в рюшечках и кружевах, сын в камуфляжной форме, оба еще не достают ногами до пола, у обоих те же серьезные и грустные глаза.

– Какая красивая женщина! – Канадец восхищался невестой, девушкой с черными глазами, алыми губками и круглыми щечками, даже прищелкивал языком.

Офицер быстро убрал фотографию, как будто хотел защитить своих близких от такого

неумеренного проявления восторга. А канадец уже рассматривал фотографию жены команданте, смеющейся студентки в магистерской шапочке и мантии, приговаривая при этом:

– О, ваша жена тоже такая красавица!

Команданте положил на стол вторую фотографию, на которой он был изображен с двумя мальчиками на руках, они стояли перед могильной плитой. Немец увидел, как у офицера глаза сузились в щелочку, а на скулах заходили желваки. Но жену команданте не убили солдаты, она умерла при родах третьего ребенка.

Потом все трое уставились на немца. Он пожал плечами.

– Я разведен, а сын мой уже взрослый.

Ему стало неловко. Все равно мог бы иметь при себе фотографию. Но даже когда сын был маленьким, он тоже не носил с собой его фотографии. Почему? Потому что это напоминало бы ему про должок перед сыном, которому при разводе было пять лет, которого воспитывала мать, а сам он видел его чрезвычайно редко. Он должен был ему отца.

Подали ужин. За первым блюдом быстро следовали второе, третье и четвертое, запивали красным вином из приморских провинций. Команданте ел и пил, сосредоточенно склонившись над тарелкой. Покончив с каждым блюдом, он брал кусочек хлеба, вымакивал им тарелку насухо, отправлял хлеб в рот, распрямлялся, как будто хотел что-то сказать, но не говорил ничего. Вряд ли по возрасту он был старше, чем офицер, но, казалось, принадлежал к другому поколению, поколению медлительных, тяжелых на подъем, немногословных мужчин, которые извели в жизни все. Время от времени он изучающе поглядывал на других, на канадца, рассказывавшего о жене и детях, офицера, который оттопыривал мизинец, когда пользовался вилкой и ножом, и задавал вежливые вопросы, на немца, который слишком устал, чтобы наслаждаться ужином, и, откинувшись на спинку стула, лишь взглядом отвечал на взгляды команданте.

Мне тоже нужно что-то говорить, думал немец, чтобы освежить в памяти свой корявый испанский. Но ему ничего не приходило в голову. Да, его собеседники, главы семейств и отцы, показав эти фотографии, не стали от этого ближе друг другу. Но ему все же казалось, что у них было право на свой, особый мир. А у него такого права не было.

Когда они перешли к десерту, раздались выстрелы, треск автоматных очередей. Разговор оборвался, все вслушивались в ночь. Немцу показалось, что офицер и команданте обменялись короткими взглядами и слегка покачали головами.

– Это был кто-то из ваших, – сказал канадец и посмотрел на команданте, – ведь это автомат Калашникова.

– У вас неплохой слух.

– Если бы все эти автоматы были в их руках, – офицер кивнул на команданте, – то было бы совсем не плохо.

Из долины доносились звуки работающей электростанции, гудение кондиционеров в офисах, магазинах и жилых домах, шумы мастерских, ресторанов, проезжающих машин.

«И дыхание спящих, – подумал немец, – влюбленных и умирающих».

И эта мысль ему понравилась.

### 3

Он проснулся в четыре утра, как это бывало всегда после перелета через Атлантику. Вышел на балкон. В долине в предрассветных сумерках раскинулся город. Цветы в саду благоухали. Воздух дышал прохладой. Он разложил шезлонг и лег. Он не помнил, чтобы когда-либо видел на небе столько звезд. От них шел свет, он следовал взглядом за этим светом, терял, находил вновь и, найдя, провожал его до самого горизонта.

Около пяти рассвело. И вдруг сразу небо из черного стало серым, звезды исчезли, а немногочисленные огни в городе и на склонах гор погасли. И сразу же запели птицы, все разом, сплетая голоса в звонкую нестройную симфонию, в которой, как тайный привет,

иногда угадывались отголоски какой-то знакомой мелодии. Может быть, музыка по всему миру потому такая разная, что так по-разному поют птицы?

Он вернулся в комнату. На шесть был назначен завтрак, а в семь они должны были отправиться в путь. В сумке он нашел галстук, он видел его впервые. Должно быть, его подруга сунула его между рубашками уже после их ссоры. Переезжать ли ей к нему в Германию или ему к ней в Нью-Йорк, следует ли им завести детей, нельзя ли ему поменьше работать – для него оставалось загадкой, как можно было об этом говорить всю ночь? Но еще большей загадкой осталось для него то, что после такого ожесточенного и утомительного спора можно было еще и засунуть в сумку галстук, как будто никакой ссоры и не было.

Он поднял телефонную трубку, не надеясь особо, что телефон работает. Но телефон работал, он позвонил в больницу, где работал врачом его сын. Он ждал, пока сын подойдет к телефону, и шум на линии напоминал ему шум города.

– Что случилось? – Сын тяжело дышал.

– Ничего. Я хотел тебя спросить... – Он хотел спросить его, не сможет ли тот переслать ему по факсу свою фотографию, так как наверняка к телефону был подключен факс. Но не решился.

– Что случилось, папа? У меня дежурство, и мне надо обратно в отделение. Откуда ты звонишь?

– Из Америки. – Он не говорил с сыном уже несколько недель. А ведь были времена, когда он звонил сыну каждое воскресенье. Но разговор всегда получался натянутым, и он оставил эту привычку.

– Позвони, когда вернешься.

– Я люблю тебя, мой мальчик.

Он никогда еще не произносил этих слов. Всегда, когда слышал их в американских фильмах, где отцы и матери с такой легкостью говорили сыновьям или дочерям эти слова, давал себе зарок сказать их своему сыну. Но стеснялся.

Сыну тоже стало неловко.

– Я... я... я желаю тебе всего хорошего, папа. Пока!

Потом он спрашивал себя, может быть, этих слов было мало. Может, надо было сказать то, что он всегда хотел сказать сыну. Или что вдали от привычной обстановки он думает о том, что для него действительно важно, он при этом... Но лучше от этого не стало бы.

Они ехали на четырех джипах, впереди офицер, за ним канадец, потом немец и последним – команданте. Каждый из них сидел на заднем сиденье, а на переднем – шофер и сопровождающий. Канадец и немец охотно поехали бы вместе. Но офицер и команданте сказали нет. «No, ingeniero» и «no, profesor», таков был их ответ. Если на горной дороге окажутся мины, не подрываться же сразу двум наблюдателям в одном джипе.

Поездка проходила в сумасшедшем темпе. Было свежо, джип был открытым, встречный ветер свистел в ушах, и немца чуть знобило. Через несколько километров асфальт кончился, они подпрыгивали на россыпях мелких камней, грунтовке, огибали воронки, ехали чуть медленнее, но все же достаточно быстро, чтобы его бросало из стороны в сторону, хотя он крепко держался за поручни. Он согрелся.

Дорога серпантинном вела в гору. К обеду на перевале был запланирован отдых, вечером, на полпути к долине, они должны были заехать в монастырь переночевать, а к вечеру следующего дня прибыть в столицу провинции.

– Вы мне можете сказать, почему нас нельзя перевезти через эти дурацкие горы на вертолете? – У второго джипа лопнула крышка, и, пока водитель менял колесо, канадец предложил немцу виски из плоской серебряной фляги.

– Может, это вопрос протокола. В вертолете мы были бы в руках военных, а так мы в руках повстанцев и военных.

– Им что, лучше, чтоб мы взлетели в воздух, чем договориться насчет протокола? – Канадец покачал головой и сделал еще один глоток. – Пойду спрошу.

Но не пошел. Офицер и команданте стояли рядом и возбужденно переговаривались. Потом команданте прошел к своему джипу, сел за руль, проехал мимо остальных машин, да так, что сучья и земля на обочине взметнулись фонтаном, а канадец с немцем отскочили в стороны, и затормозил поперек дороги перед джипом офицера. Канадец молча протянул немцу фляжку.

– У меня в чемодане еще есть.

#### 4

Чем выше в горы они поднимались, тем медленнее продвигались вперед. Дорога становилась все уже и хуже. Она была вырублена в скале, которая с одной стороны отвесно вздымалась вверх, с другой же круто спускалась вниз, в долину. Иногда им приходилось оттащить в сторону обломки скалы, заполнять выбоины камнями и ветками или страховать с помощью троса едущий следом джип, если под головной машиной начинала осыпаться скальная крошка. Воздух был теплым и влажным, и над долиной повис туман.

Когда они достигли перевала, уже стемнело. Команданте остановил машину.

– Дальше сегодня не поедем.

Офицер подошел к нему, они тихо обменялись парой слов, немец их не разобрал, потом офицер крикнул:

– Выходите из машин. Завтра дальше поедем.

Слева от дороги была широкая площадка, там приткнулась небольшая церквушка, а взгляд терялся в необъятной громаде занавешенной туманом горной цепи, на которую уже спустились лиловые сумерки. Церковь выгорела изнутри. Пустые дверные и оконные проемы были покрыты слоем копоти, стропила обуглились. Но башня осталась неповрежденной: приземистый куб, на нем изящная, тоже кубической формы колоколенка, а над ней – купол с крестом. Когда темнота скрыла следы пожара, церковь в темных покровах ночи казалась невредимой на фоне серого неба. Она походила на любую церковь в предгорьях Альп где-нибудь в Баварии или Австрии.

Немец вспомнил об одном эпизоде из своей жизни. Было это двадцать лет тому назад. Они с сыном две недели каникул провели на озере возле Мюнхена. Однажды вечером в начале второй недели они, как и каждый вечер, пошли в церковь на окраине деревни. Она стояла на возвышении, вниз, в направлении деревни, полого спускалась площадка, а там луга переходили в холмы и пригорки, чтобы где-то вдалеке стать Альпами. Они сидели на каменной скамейке на площадке. Стояла осень, вечерами было свежо, но камень скамьи еще хранил тепло дневного солнца. На краю площадки остановилась машина с открытым верхом, из нее вышли его бывшая жена и ее молодой друг. Они подошли и остановились перед скамейкой, жена смотрела кокетливо и в то же время чуть смущенно, теребила оборку белого платья с золотым поясом, а друг стоял, широко расставив ноги, – в черных кожаных штанах и в белой рубашке с отложным воротником.

– Привет, мама. – Мальчик, заговорил первым, чуть подавшись вперед, как будто хотел вскочить со скамейки и убежать, но остался сидеть.

– Привет.

Потом заговорил друг. Он настаивал, чтобы сын поехал с ними. Суд постановил, что на осенних каникулах мальчик должен проводить с отцом только одну неделю. Вторая неделя была за матерью.

Да, все это так, но только они договорились по-другому. Жена знала это, но молчала. Она боялась. Боялась потерять своего друга, хотя видела, каким чванливым он был и как заносчиво говорил о том, что мальчик должен быть с матерью и с ним, мужчиной, с которым она живет. Отец видел ее страх, а также страх, скрывавшийся за надменностью ее друга, который по своей значимости и положению в обществе чувствовал себя ниже его и не мог обратить в свою пользу преимущество возраста. Он видел страх сына, который делал вид, что все происходящее его не касается.

А друг вошел в раж, начал кричать о похищении, судебном разбирательстве и тюрьме, прикрикнул на сына, чтобы шел к машине. Сын пожал плечами, встал и застыл в ожидании. Отец увидел вопрос в его глазах, немую просьбу кинуться в бой и победить, а вслед за этим – разочарование отцовской капитуляцией. Ему надо было бы наорать на наглеца, врезать ему как следует или схватить сына и удрать вместе с ним. Это было бы лучше, нежели смириться, пожать плечами и с беспомощной и жалостливой улыбкой кивнуть ему, мол, держись!

Он что, хотел тогда облегчить положение сына? А, может быть, матери? Или свое собственное? Разве он не был втайне рад тому, что сын ушел, а он опять мог заняться своей работой?

Джипы пересекли площадку и замерли на стоянке перед церковью, с работающими моторами и включенными фарами. Офицер и команданте выкрикивали приказы, солдаты что-то делали внутри церкви. Немец прошел через площадку мимо башни и обнаружил за ней сгоревшую пристройку, состоявшую из двух комнат, за клиросом была лестница, сбегавшая вниз по склону. Было слишком темно, чтобы увидеть, где она кончалась. Он стоял и глядел на ступеньки. Иногда до него доносился крик, будто птица кричит во сне. Но тут его позвал офицер.

Он обернулся и пошел назад. И только тогда увидел, что кто-то притаился, скорчившись, на верхней ступеньке лестницы. Он испугался, у него было такое чувство, что его подслушивают и за ним наблюдают. Он не мог разглядеть, кем была фигура в темной накидке – мужчиной или женщиной? Не глядя на него, человек что-то произнес. Что, он не понял. Он переспросил, но тот продолжал говорить, а он даже не мог разобрать, было ли это повторением уже сказанного. Офицер вновь позвал его.

В церкви в свете фар суетились водители, отбивали обугленную древесину со стропил, скамей и исповедален, складывали все в кучу, мели пол на клиросе перед алтарем. Офицера и команданте не было видно. На каменном пороге перед дверью в башню сидел канадец с плоской серебряной фляжкой в руке.

– Идите сюда! – Он приглашающе помахал рукой с фляжкой.

Немец присел, сделал глоток, следующим ополоснул рот, внутри стало тепло.

– Вы знаете, зачем необходимы спальные мешки и провиант в случае ночевки в монастыре? Ведь там внутри они разведут огонь, чтобы приготовить пищу, а на клиросе мы будем спать.

Немец проглотил виски, сделал еще глоток.

– На случай возникновения непредвиденных ситуаций. Они знали, в каком состоянии дорога и что такие ситуации могут возникнуть.

– Они знали, какая будет дорога? И, несмотря на это, везут нас на джипах, вместо того чтобы переправить через горы на вертолете?

– Я ни разу не летал на вертолете.

– Тра-та-та-та-та, – канадец покрутил рукой с фляжкой над головой. Он был пьян.

Потом они услышали два выстрела, секунду спустя – третий.

– Это команданте. Во всяком случае, это его пистолет. У вас есть с собой пистолет?

– Пистолет?

Команданте и офицер вышли из темноты ночи.

– Почему стреляли? – Канадец бросился им навстречу.

– Он подумал, что услышал гремучую змею. – Команданте кивнул головой в сторону офицера. – Но здесь их не бывает. Не беспокойтесь.

## 5

Во время ужина канадец повел разговор с команданте. Он сказал, что уверен, стрелял он, а не офицер, и спросил, почему он это отрицает. Тут офицер начал подсмеиваться над инженером. Ах, он точно слышал, что выстрелы произведены из ТТ. Так он по звуку узнает,

что стреляет, ТТ или пистолет Макарова, браунинг или беретта? Не странно ли, что именно он так хорошо узнает пистолеты по «голосу»? Так великолепно разбирается в оружии? Именно он?

Канадец взглянул на него вопросительно.

– Вы же тогда переехали из Америки в Канаду, потому что не хотели иметь ничего общего с оружием, так ведь?

– И что?

Офицер рассмеялся и ударил себя по бедрам.

Когда костер прогорел и они лежали в спальных мешках, немец смотрел сквозь обгоревшие стропила на небо. Его вновь поражала эта звездная бездна. Он опять искал тот движущийся свет, за которым можно было бы следить глазами. И не находил его.

Настоящий отец борется за своего сына. Он дерется за него. Или бежит вместе с ним. Но не сидит просто так, пожимая плечами. Не смотрит с идиотской ухмылкой, когда у него забирают сына.

Он вспомнил и о других, столь же постыдных сценах. Обед с вышестоящими коллегами, которые игнорировали его и которых он презирал, но тем не менее хотел сделать им приятное. Вечер с женой и ее родителями, когда тесть дал ему почувствовать, что хотел бы видеть рядом с дочерью другого мужа, а он молча сидел с вежливой улыбкой на лице. Урок танцев, последний танец он танцевал с самой симпатичной девушкой, но сделал хорошую мину при плохой игре, когда другой, один из сильных мира сего, взял и с улыбкой увел ее, хотя именно он, который танцевал с ней последним, должен был, следуя правилам, проводить ее домой.

Лицо горело, стыд душил его. Воспоминания обо всех поражениях в жизни, невоплощенные намерения, умершие надежды – все это слилось в одно мучительное чувство – стыд. Как будто он хочет убежать от самого себя и не может, как будто что-то изнутри разрывает его на части. Как будто что-то рассекает его на две половины. Да, подумал он, это стыд. Физическое чувство раздвоенности, сердце, состоящее или состоявшее из двух половинок. Одной такой половинкой я презирал коллег, а другой хотел сделать им приятное, своего тестя я наполовину ненавидел, но в то же время наполовину почитал, ради жены. Да, я хотел пойти с той симпатичной девушкой, но не желал этого всем сердцем и всей душой. И сыну своему я был отцом только наполовину.

Он уснул. Когда он проснулся, сознание было ясным. Он присел и вслушался в темноту. Ему хотелось знать, что его разбудило. Безмолвие царило кругом. Он вновь услышал крик птицы и какой-то шорох, как будто ветер колышет опавшую листву. Вдруг над джипом, стоявшим у входа, с громким шумом, похожим на выстрел хлопушки, взвилось пламя. Прежде чем немец вылез из своего спального мешка, офицер уже бежал через площадку к джипу, стоявшему рядом с горевшим. Отпустил тормоз и начал его толкать. Немец подбежал к нему и стал помогать. Вспышки пламени обжигали, он подумал, что огонь может в любой момент перекинуться на их машину. Но у них получилось. Два других джипа стояли на безопасном расстоянии.

– А вы разве...

– Да, я выставил караул.

Офицер потащил немца в церковь. Клирос стоял пустой. Все сбились у входа, там языки пламени не освещали церковь. Никто не сказал ни слова, пока огонь не погас. Затем офицер и команданте шепотом отдали приказы, и солдаты исчезли в темноте ночи.

– Мы поднимемся на башню, а вы идите на клирос. Вот, профессор, возьмите мой пистолет. – Офицер отдал немцу свое оружие. Потом он и команданте ушли.

Канадец задержал немца.

– Завтра утром, когда рассветет, возьмем себе джип и пару ребят и поедем назад. Если они не хотят, чтобы мы добрались до этого дурацкого города, оставим затею с машинами. Я в свое время не для того попал в Канаду вместо Вьетнама, чтобы меня здесь пристрелили.

– Но...

– Где ваш разум? Они нас не хотят. Они нас не убили, хотя могли бы, и сделали это только из вежливости. Но дело примет совсем другой оборот, если мы ответим невежливостью на их вежливость.

– Кто это они?

– Откуда я знаю? Да это меня и не интересует.

Немец заколебался.

– А что, это разве не наша...

– ...задача принести в страну мир? Что, разве мы не двое из двенадцати апостолов мира? – Канадец рассмеялся. – Вы что, не понимаете? Все именно так, как сказал президент: если им так нравится воевать, то с ними никогда не будет мира. Это как с алкоголем. Пока алкоголик еще не скатился на самое дно, так глубоко, что глубже не бывает, он не прекратит пить. – Он вытащил из кармана фляжку. – Ваше здоровье!

## 6

Хотя было холодно, немец уснул. Когда он, заочневший, проснулся, уже светало. Он приподнялся и увидел слева тщательно припаркованные борт к борту оба джипа и третий, одиноко стоящий посреди площадки. Он и не заметил, как далеко они его ночью оттащили. В кронах деревьев висел туман. Свет был серым и тем не менее резал глаза.

Он услышал какие-то звуки. Металл ударялся о камень, снова и снова, снова и снова комья с сочным чмоканьем падали на землю. Неужели водители копали могилу? Взошло солнце, бледный желтый шар.

Звон лопат напомнил ему о каникулах у моря и о песочном замке, который он построил вместе с сыном, потому что все отцы со своими детьми строили песочные замки, и его сын хотел иметь такого отца, как у всех детей, и хотел делать с ним вместе то, что делают все. И все же его сын захотел построить личный замок из песка, лучший из всех. Но из его школьных друзей и дворовых приятелей, перед которыми он хотел похвалиться, здесь не было никого, и стоившее отцу и сыну стольких усилий строительство не достигло желанной цели. То же случилось и с походом в горы, который они с сыном совершили два года спустя. Они просто не дошли до того места, до которого хотели пойти или до которого, по его мнению, должны были пойти, чтобы сыну открылась радость преодоления. Он вспомнил несколько других ситуаций, в которых оказался неудачником, где от него чего-то требовали, а не хвалили, ругали, а не утешали, когда он уклонялся от чего-то, вместо того, чтобы идти напролом. Эти эпизоды будоражили память, нарушали покой, словно поезд, идущий где-то там, далеко, у линии горизонта. Поезд, на который он должен был сесть, но который уже давно ушел.

Он почувствовал себя ослабевшим, оперся на цоколь колонны и взглянул на солнце. У него зуб на зуб не попадал. Ему казалось, что солнце подвешено на небе, и он боялся, что в любой момент оно может сорваться. И что тогда оно упадет на Землю, в месте его падения все, шипя, выгорит дотла и превратится в пар. Или оно упадет где-то вне Земли, в зияющую пустоту?

Он знал, что мысли эти – сплошной бред, и знал, почему он бредит. Потому что у него жар. Что в его теле, вместе с ознобом, растет какое-то непонятное чувство страха. Было тепло, и не было причины чего-то бояться. Не надо было бояться, что сын родится калекой, станет наркоманом, что у него будут проблемы в школе, он будет страдать депрессией, не получит образования, не найдет себе жены. Все было нормально, даже если это и не было его заслугой. Даже если он и не внес в это тот вклад, который должен был бы внести. Даже если этот невнесенный вклад висит на нем непоплатенным долгом. Даже если он не заплатит свои долги.

Звуки, сопровождавшие копание могилы, прекратились. Немец слышал лишь стук своих зубов. Он должен был принять решение, ехать ли с канадцем или без него назад или вперед вместе с офицером и команданте. Он не хотел рисковать своей жизнью. Вскоре его



внуку нужен будет любящий, добрый, великодушный дедушка. Вскоре... Но перед этим джипы загрузят, в первом, по всей вероятности, займут места офицер и команданте, канадцу определяют второй джип, а ему третий, канадец таки сядет в него вместе со своей неразлучной фляжкой, и все будут ждать его, раздражаться, что он задерживает движение, делая столь зыбкое равновесие этой тяжелой поездки еще более зыбким. Он должен был принять решение. При этом он не мог стоять, не держась за цоколь колонны.

Он не сообразил, откуда вдруг появились канадец, офицер и команданте. Они стояли перед входом в церковь.

– У нас есть приказ доставить вас в город, и мы доставим вас в город.

– У вас есть приказ доставить нас в город целыми и невредимыми. Тот, кто ночью убил постового и поджег джип, сделает так, что по дороге в город мы взлетим на воздух. Паф, и все!

– А вы что думали? Что вы приехали сюда на прогулку? Или на пикник? – Команданте был вне себя от ярости.

Офицер успокоил:

– Кто бы это ни был сегодня ночью – то, что он пришел ночью и вчера никак себя не обнаружил, означает, что он слишком слаб, чтобы появляться днем.

Немец оторвался от колонны и подошел к остальным. Он дрожал, все тело болело. Рядом с церковью водители выкопали могилу. На одной стороне могилы в горке выкопанной земли торчали лопаты. На другой лежали тела. Немец узнал мужчину, который вчера сидел за рулем его джипа. Он лежал с перерезанным, окровавленным горлом. Рядом с ним лежала женщина, вся грудь ее была изрешечена пулями. Немец еще никогда не видел покойников. Ему не стало плохо, он не был потрясен. Мертвые лишь выглядели мертвыми. Неужели это была та женщина, которая сидела на верхней ступеньке лестницы? Почему офицер или команданте ее застрелили? По неосторожности? В состоянии аффекта?

Подошли два водителя, опустили мертвых в могилу, закидали ее землей, утрамбовали лопатами. Креста нет, подумал он, но тут же увидел, как один из водителей связывает крест-накрест два деревянных колышка.

Остальные грузили в джипы багаж, спальные мешки, провиант. Канадец пытался заговорить с офицером, не обращавшим на него никакого внимания, не отставал от него ни на шаг, тщетно призывая того к ответу. Команданте уже сидел в это время в джипе.

Канадец увидел немца, отстал от офицера и подошел к нему:

– Они не разрешают нам ехать назад.

Но тут его взгляд остановился на куртке немца, обвисшей под тяжестью пистолета, который офицер дал ему ночью, а немец сунул его тогда в карман. Он выхватил его, прежде чем немец понял, что означает этот судорожный жест. Канадец подбежал к офицеру, остановился перед ним и начал размахивать пистолетом.

## 7

Все произошло столь стремительно – движения, крики, выстрелы, – что немец ничего не понял. А первой его мыслью после того, как он понял, было, что пуля его задела: я никогда не узнаю, что случилось.

Ему вдруг вспомнилась книга, в которой кто-то описывал свой инфаркт, потный лоб и ладони, болезненный клубок в легких, тянущая боль в левой руке, боль в груди, то появляющаяся, то исчезающая, как при схватках, страх. Его грудь чем-то заполнилась до краев, как будто лопнул пузырь с теплой жидкостью и она разливается внутри.

Стрельба прекратилась. Команданте выкрикивал приказы, часть солдат побежала к джипам, другая – к офицеру и к канадцу, который рухнул на землю. Насколько серьезно его зацепило, немец понять не мог. На какое-то мгновение он подумал, что должен что-то сделать, но сразу же осознал всю смехотворность своей мысли. Он хотел быть один. Он попытался сделать шаг, другой, опираясь правой рукой на стену церкви. Он хотел добраться

до лестницы.

Бледно-желтое солнце поднялось выше. Он видел, что склон за церковью зарос кустарником и травой. Один склон, и другой, и третий. Рядом торчала пальма с растерзанной кроной. Земля здесь была скудная, суровая, непригодная для земледелия. Подул холодный ветер, пройдя по высокой траве, покрывавшей склон. Кажется, что ветер колышет волны, подумал он.

Потом он вспомнил о своих неоплаченных долгах. Что ж, погашать их придется сыну? Ему будет предъявлен счет? Или смысл смерти в том, что смертью своей он заплатит свои долги? Чтобы счет не предъявляли сыну? Чтобы сына не заставляли платить за свое счастье?

На какое-то мгновение ему стало весело. А, сказал он себе, еще не слишком поздно, не слишком поздно любить сына. Вот сейчас сын взбежит по лестнице. Даже если это не наяву, как было бы хорошо, если бы он сейчас взбежал по лестнице, в белом халате, со стетоскопом, таким, каким я его еще ни разу не видел, или в своих вечных синих джинсах и вечном синем свитере, или бегущим, смеющимся, запыхавшимся маленьким мальчиком.

Запыхавшимся? Куда делось тепло в его груди? Почему ноги, которые только что носили его тело, теперь отказываются это делать? Ноги перестали слушаться прежде, чем он смог опуститься на лестницу. Он упал на каменные плиты. Он лежал на левом боку и видел запекшуюся кровь, траву между каменными плитами и жука. Он хотел привстать, подползти к лестнице и сесть на самую верхнюю ступеньку. Он хотел устроиться там поудобнее, чтобы, когда умрет, остаться там сидеть. Он хотел сесть там, чтобы когда умрет, видеть раскинувшуюся перед ним землю, и чтобы эта земля могла его видеть, – выпрямившись, сидеть на самой верхней ступеньке и умирать.

Он никогда не сможет понять, почему, умирая, он был столь тщеславен, хотя никого не было рядом, никто не мог видеть его, он не мог никого ни поразить своим мужеством, ни разочаровать. Он смог бы ответить на этот вопрос, если бы у него было время поразмыслить над ним. Но на размышления у него не осталось времени. Ему не удалось привстать. Он остался лежать на земле, чувствовал холодное дыхание ветра, но уже не видел, как ветер колышет траву. Он бы с удовольствием еще раз увидел общипанную драную пальму. Она что-то напоминала ему, может, он вспомнит, что именно, если увидит ее еще раз.

Он понял, что у него осталось всего несколько секунд. Секунда, чтобы подумать о матери, секунда для женщин, бывших в его жизни, секунда для... Его сын не взбежал по лестнице. Было слишком поздно. Было грустно, что в эти последние мгновения перед ним не прокрутился фильм о его жизни. А он бы охотно его посмотрел. Он бы с удовольствием ничего не делал, а расслабился и смотрел фильм. Вместо этого до самого последнего мгновения он вынужден был думать. Кино – почему смерть не соответствует связываемым с ней представлениям? Но затем он вновь почувствовал себя таким усталым, что вряд ли захотел бы смотреть это кино.

## **ЖЕНЩИНА С БЕНЗОКОЛОНКИ**

### **Перевод В. Подмиогина**

#### **1**

Он уже и сам не знал, действительно ли когда-то видел этот сон или с самого начала придумал его. Он не знал, чей образ, что за история или кинофильм навеяли этот сон. Впервые сон приснился, когда ему было лет пятнадцать-шестнадцать, и с тех пор не оставлял его. Когда-то он вызывал этот сон в памяти, когда уроки в школе или день, проведенный вместе с родителями на каникулах, были особенно скучными, позже это случалось во время совещаний на работе, поездок в поезде, и тогда, отложив бумаги, он закрывал глаза и откидывался на спинку кресла.

Пару раз он даже поведал о своем сне кому-то из друзей, женщине, которую когда-то

полюбил, встретив ее однажды в незнакомом городе, где они вместе шатались и болтали, и с которой потом расстался. Нет, не то чтобы он хотел сохранить свой сон в тайне. Просто не было повода рассказывать его часто. Кроме того, он знал, что сон его перестанет быть таким притягательным, если о нем кому-то рассказать. Сама мысль о том, что кто-то еще может увидеть «его» сон, была ему неприятна.

## 2

Он едет на машине по широкой пустынной равнине. Дорога прямая, лишь изредка она ныряет в низинку или огибает холм, но ему легко следить за ней взглядом, взгляд его устремлен в сторону гор, что высятся на горизонте. Солнце стоит в зените, и над асфальтом золотится пронизанный солнцем воздух.

Навстречу ему не попадает ни одного автомобиля, и сам он никого не обгоняет. До ближайшего населенного пункта, согласно дорожному указателю и карте, еще целых шестьдесят миль, он где-то там, в горах или за перевалом. Ни справа, ни слева, насколько видит глаз, нет никаких домов. Но вот слева возникает бензоколонка. Широкая утрамбованная песчаная площадка с двумя раздаточными колонками посередине, рядом деревянный трехэтажный дом с балкончиком под крышей. Он тормозит, сворачивает на площадку и останавливается возле заправки. Песок, поднятый колесами автомобиля, оседает.

Он ждет. И именно тогда, когда он хочет выйти из машины и постучаться в дом, дверь открывается, и на пороге появляется женщина. Когда он впервые увидел свой сон, она была еще совсем девчонкой, с годами она выросла, становилась девушкой, молодой женщиной, зрелой дамой, потом в возрасте от тридцати до сорока перестала стареть. В его сне она остается молодой, в то время как ему уже за сорок, потом за пятьдесят. Чаще всего на ней джинсы и ковбойка, иногда широкое джинсовое платье до пят светлого линяло-голубого цвета или с рисунком в поблекший голубой цветочек. Она среднего роста, крепко сбитая, но не толстая, лицо и руки покрыты веснушками, у нее светлые волосы, серо-голубые глаза и крупный розовый рот. Она подходит к нему уверенными шагами, уверенно берет левой рукой заправочный шланг, нажимает правой на пусковой рычаг и заправляет бак автомобиля.

Потом действие в его сне делает скачок. Он никогда не рисовал в своей фантазии, что они здороваются друг с другом, смотрят друг на друга, разговаривают, что она приглашает его выпить кофе или пива, как он спрашивает, можно ли ему остаться, но всегда он поднимается с ней в спальню. Он видит ее и себя лежащими на смятой постели после того, как они пылко любили друг друга, видит пол, стены, шкаф и комод, все выкрашено в светлые зеленовато-голубоватые тона, видит железную кровать и светлые полосы, которые солнце сквозь выкрашенные в такой же зеленовато-голубоватый цвет деревянные жалюзи бросает на стены, пол, мебель, простыни, их тела. Это всего лишь живописное полотно, а не сцена, не действие со словами, только краски, свет, тени, белизна простыней и контуры тел. А вечером сон вновь обретает движение.

Он припарковывает свою машину рядом с ее домом, там стоит ее маленький грузовичок с открытым верхом. На другой стороне дома крытая веранда, и еще две грядки, на которых зреют помидоры и почему-то арбузы, теплица, которую она построила для защиты от песка и в которой выращивает всевозможные ягоды. А дальше – пустыня со скудной растительностью и пересохшим руслом ручья, в течение десятилетий, а то и столетий вода, что скапливается там зимой, вымыла трех-четырёхметровую канаву в каменистом грунте. Она показывает ему эту канаву, подводит к насосу, качающему воду из глубокого колодца. Потом он сидит на веранде и видит, как стремительно темнеет небо. Он слышит, как она возится в кухне. Когда подъедет какая-нибудь машина, он встанет, пройдет через дом и включит заправочную колонку. Даже если она включит свет в кухне и полосы света через открытую дверь будут падать на пол веранды, он встанет, включит фонарь, стоящий между двумя раздаточными колонками, чтобы он освещал площадку. Он спросит

себя, будет ли фонарь гореть всю ночь и светить в окно спальни и в эту ночь, в завтрашнюю и во все ночи, которые будут в их жизни.

### 3

Часто сны, которые нас сопровождают в жизни, контрастируют с той жизнью, которую мы ведем. Искатель приключений во сне мечтает вернуться домой, а законопослушный гражданин может мечтать о разбое, дальних странах и великих делах.

Человек, который видел этот сон, вел спокойную жизнь. Не мещанскую и не скучную. Он говорил по-английски и по-французски, делал карьеру у себя в стране и за границей, оставался, даже вопреки обстоятельствам, верен своим убеждениям, легко преодолевал кризисы и конфликты и на шестом десятке обладал завидным здоровьем, кое-чего достиг в жизни и повидал мир. Он всегда был слегка напряжен, будь то на работе, дома или в отпуске. Не то чтобы он, когда надо было что-то сделать, делал это в спешке, нервно, но под внешним спокойствием, с которым он выслушивал вопросы, отвечал, работал, буквально вибрировало напряжение, результат концентрации на поставленной задаче, его нетерпение решить эту задачу, потому что ее решение в реальности и в воображении редко шли рука об руку. Иногда он воспринимал это напряжение как нечто мучительное, иногда – как некую внутреннюю энергию, окрыляющую силу.

Во всем его облике и в манере поведения сквозил своеобразный шарм. В обращении с окружающими и предметами он был мило рассеянным и неуклюжим. Так как он осознавал, что его рассеянность и неуклюжесть не особенно нравятся людям и предметам, своей улыбкой он как бы извинялся перед ними. Это его красило, рот становился чуть обиженным, а глаза – немножко печальными, а так как в его стремлении получить прощение не было обещания исправиться, а лишь признание своей неловкости, то улыбка его была смущенной и полной самоиронии. Его жена все время задавалась вопросом, насколько естественным был этот его шарм, а может, этой своей рассеянной и неловкой манерой он просто кокетничал, надевая на лицо улыбку и зная при этом, что его ранимость и печальный взгляд пробуждают в другом желание утешить. Она не могла ответить на этот вопрос. Но правда была в том, что он пользовался симпатией врачей, полицейских, секретарш и продавщиц, детей и собак, сам, казалось, того не осознавая.

На нее его очарование больше не действовало. Сначала она подумала, что он его растратил, как растрачиваешь нечто, к чему привыкаешь. Но однажды она заметила, что его шарм ей осточертел. Просто осточертел. Они были в отпуске в Риме, она сидела с ним на Пьяцца Навона, и он гладил по голове шелудивую собаку-попрошайку тем же любяще-рассеянным жестом, каким гладил иногда по голове и ее, и на лице его была та же любящая смущенная улыбка, которая сопровождала этот жест, когда он касался ее волос. Его очарование – это было что-то вроде бегства от самого себя, от признания собственной никчемности. Это был ритуал, с помощью которого муж демонстрировал ей, что ему все приелось.

Если бы она упрекала его, он бы не понял упреков. Их брак был полон ритуалов, которые были фундаментом его успешности. Разве все крепкие браки не построены на ритуалах?

Его жена была врачом. Она всегда работала, даже когда трое ее детей были совсем маленькими, когда же они подросли, она занялась наукой, стала профессором. Ее или его работа никогда не стояли между ними, они так организовали свою жизнь, что при всей их занятости всегда находилось время для детей, друг для друга. Это было свято. И каждый год у них были целые две недели отпуска, когда они вместе куда-нибудь уезжали, оставляя детей на гувернантку, впрочем, и так занимавшуюся ими круглый год. Все это требовало дисциплинированности, ритуальности в обращении со временем, где спонтанности не было места. Они осознавали это, видели, что спонтанность, непредсказуемость их друзей сплавляла семью сильнее, чем их монотонная организованность. Это их не пугало. Они со

своими ритуалами довольно разумно и приятно организовали свою жизнь.

И только один ритуал – спать в одной постели – потерял свою актуальность. Он не знал, когда это случилось и почему. Он вспомнил то утро. Проснувшись, он увидел рядом с собой опухшее лицо жены, вдохнул резкий запах ее пота, услышал, как она со свистом выдыхает воздух, и отшатнулся. Он до сих пор помнил тот ужас. Что вдруг могло его оттолкнуть, ведь раньше ее припухшее со сна лицо ему хотелось целовать, резкий запах ее пота возбуждал его желание, а посвистывание во сне – забавляло? Он даже взял его лейтмотивом мелодии, которую насвистывал, чтобы разбудить ее. Нет, это случилось не в то утро, гораздо позже, ритуал совместного сна канул в Лету. Ни тот, ни другой не делали первого шага, хотя оба хотели, чтобы другой сделал этот шаг, этого было бы достаточно. Нужно было чуть-чуть желания, ровно столько, чтобы хватило для второго шага, но его не хватило и для первого.

Однако никто из них не покинул общей спальни. Она могла бы спать в своем кабинете, он – в одной из пустующих детских. Но ни он, ни она не готовы были расстаться с ритуалами: вместе раздеваться, засыпать, просыпаться, вставать. Да, она тоже не решилась сделать этот шаг, хотя была человеком резким, более трезвым и хватким, чем он, но в то же время жила в ней странная робость. И она не хотела терять ничего из того, что осталось от их ритуалов. Она не хотела потерять их радость совместной жизни.

И все же однажды это произошло. Они готовились к серебряной свадьбе: список гостей, ужин в ресторане, поездка на пароходе, гостиница. Они смотрели друг на друга и знали, что делают что-то не то. Им нечего было праздновать. Пятнадцать лет совместной жизни они еще могли бы отметить, ну пусть двадцать. Но в какой-то момент их любовь прошла, улетучилась, и хоть не было ложью то, что они продолжали жить вместе, но сам юбилей был ложью.

Она сказала об этом, он тут же согласился. Они не будут праздновать юбилей. И как только они так решили, почувствовали такое облегчение, что пили шампанское и говорили, говорили, как давно уже не говорили друг с другом.

#### 4

Можно ли влюбиться во второй раз в одного и того же человека? Ведь для второго раза знаешь его слишком хорошо. Разве влюбиться не подразумевает, что ты еще не знаешь человека, что на нем, как на карте мира, много белых пятен, на которые проецируются твои собственные желания. Или же сила этого проецирования при соответствующей потребности столь велика, что распространяется не только на белые пятна, но и на всю пеструю географическую карту? И есть ли любовь без такого проецирования?

Он задавал себе эти вопросы, они его больше забавляли, чем сбивали с толку. То, что происходило с ним в последующие недели, могло быть проецированием или опытом, но это было прекрасно, и он наслаждался этим своим состоянием. Он наслаждался разговорами с женой, наслаждался тем, что они договаривались сходить в кино или на концерт, тем, что по вечерам опять совершали прогулки.

Была весна. Иногда он встречал ее с работы, ожидая не у входа в институт, а за пятьдесят метров от него на углу улицы, потому что ему нравилось смотреть, как она идет ему навстречу. Она шла быстро, торопливо, ее смущал его прямой взгляд, и от смущения она заправляла левой рукой волосы и робкая улыбка расцветала на ее лице. Он вновь узнавал эту девичью смущенность, в которую в свое время влюбился. Ее походка и осанка не изменились, и как в юности при каждом шаге подпрыгивали под свитером крепкие груди. Он спрашивал себя, почему все эти годы не замечал этого. Как он себя обделил! И как хорошо, что у него снова открылись глаза. И что она осталась такой же красивой. И еще она была его женой.

Они не занимались любовью. Сначала их тела чуждались друг друга. Но даже тогда, когда они снова привыкли друг к другу, дело не шло дальше нежных касаний, при

пробуждении, на прогулках, когда они сидели за ужином или прижимались друг к другу в кино. Сначала ему казалось, что вот-вот настанет момент, они вновь будут близки и это будет прекрасно. Затем спрашивал себя, а придет ли вообще этот момент и будет ли он в действительности таким уж прекрасным, да и хотят ли они оба, чтобы он пришел? Или он уже ничего не может? За годы, когда их брак разваливался, было две ночи близости с другими женщинами: одна с переводчицей, другая – с коллегой по работе, обе после изрядного количества спиртного, с чувством отчуждения и стыда на следующее утро. Было несколько моментов не приносящего радости самоудовлетворения, по большей части в гостиницах во время командировок. Может быть, он утратил взаимосвязь между понятиями «любить», «желать», «вместе спать»? Может, он стал импотентом? Когда он попытался сам удовлетворить себя, чтобы испытать свою потенцию, у него ничего не получилось.

А возможно, им с женой нужно просто подождать? Он сказал себе, что у них нет причины спешить с близостью и они могут спокойно возобновить супружеские отношения и через год, потому что в их возрасте это не так уж важно. Но чувствовал он другое. Он хотел, чтобы это сбылось, и здесь ему тоже не хватало терпения, потому что исполнение желания и само желание – не всегда одно и то же. А вообще-то, его нетерпеливость с возрастом усиливалась. То, что он не успевал сделать сегодня, беспокоило его, даже когда он знал, что завтра сделает это легко. Во всем, что окружало ее, было нечто незавершенное, вызывающее у него беспокойство: в наступающем дне, и в грядущем лете, в покупке нового автомобиля и в приезде детей на Пасху. Даже в планируемом путешествии в Америку.

Это была идея его жены. Второе свадебное путешествие. А разве то, что они сейчас переживали, не было их второй свадьбой? Когда они были моложе, они часто мечтали о том, что поедут на поезде через Канаду, от Квебека до Ванкувера и дальше до Сиэтла, а потом на машине вдоль побережья до Лос-Анджелеса или Сан-Диего. Сначала это путешествие было для них слишком дорогим удовольствием, потом слишком долгим для медового месяца без детей, а с детьми, из-за частых переездов на поезде и в автомобиле – слишком утомительным. Но сейчас у них было полно времени для себя. Можно было взять четыре недели отпуска, пять или шесть, позволить себе любой поезд, любую шикарную машину. Не пора ли осуществить давнишнюю мечту?

## 5

В мае они решились. В Квебеке погода была по-весеннему переменчивая: дожди шли часто, но недолго, а в перерывах между дождями облака рассеивались, и мокрые крыши искрились в лучах солнца. В долине Онтарио поезд проносил их вдоль зеленых полей, расстилавшихся до горизонта, это был мир, состоящий лишь из зеленого и голубого. В Рок-Маунте вдруг налетели метели, поезд застрял в сугробах, и они проторчали там целую ночь, пока не приехал аварийный поезд и не расчистил пути.

В эту ночь они спали вместе. Мерное покачивание поезда разбудило их тела, как это бывает в жаркий день или в теплых струях воды. Во время вынужденной остановки отопление работало слабо, метель выла за окнами вагона, через щели пола и окон в купе проникал холод. Они залезли вместе в постель, смеясь, дрожа, обнимая и поддерживая друг друга; укутались, превратились в теплый кокон. Желание пробудилось в нем совершенно неожиданно, и из-за страха, что оно может так же неожиданно пропасть, он торопился и обрадовался, когда все было позади. Среди ночи она сама разбудила его, и все было уже спокойно и неторопливо. Утром он проснулся еще до свистка, которым локомотив приветствовал приближающийся аварийный состав. Он увидел из окна снег и небо, мир, сотканный из голубого и белого сияния. Он был счастлив.

Два дня они пробыли в Сиэтле. Дом на Квин Энн Хилл, где у них был заказан полупансион, располагался на склоне, оттуда открывалась широкая панорама города с бухтой. Между небоскребами пролегал многополосный хайвэй с нескончаемой чередой машин, днем многоцветной, а ночью же – одна слепящая полоса огней. Как поток, подумал

он, текущий то вверх, то вниз. Иногда до них доносились звуки сирены, это сигналили машины полиции или «скорой помощи», и все прочие машины прижимались к обочине. В первую ночь он так и не смог заснуть, постоянно вставал и подходил к окну, чтобы увидеть, как машина с красными или синими пульсирующими огнями прокладывает себе дорогу в нескончаемом потоке. Слышались корабельные гудки, которыми суда приветствовали порт, покидая его или возвращаясь. Это были контейнерные суда, высокие, яркие, окруженные большими и малыми парусниками с раздутыми от ветра яркими парусами. Сильный ветер дул с моря всегда.

Когда он не мог заснуть, наблюдал, как спит она. Лицо выдавало ее возраст, он видел морщинки, обвисшую кожу под подбородком, за ушами, под глазами. Одутловатое лицо, резкий запах и посвистывание уже не отталкивали его. В последнее утро в поезде он разбудил ее посвистыванием, как раньше, с удовольствием осторожно прикоснулся ладонями к ее лицу, ощущая его нежность, и после того, как они были близки, он с удовольствием вдыхал под одеялом запах их любви и ее пота. Радовался, что может снова будить ее, что еще не разучился соблюдать ритуалы их любви и что она тоже не разучилась и ничего не забыла. Что их мир спасен!

Он понял, их любовь создала мир, который представлял из себя нечто большее, чем их чувства друг к другу. Даже если чувства ушли, мир этот остался. Краски поблекли, стали черно-белыми, но этот поблекший мир оставался их миром. Они жили в нем и жили порядком этого мира. А сейчас этот мир вновь обрел многоцветье.

Они строили планы на будущее. Это тоже была ее идея. А что если начать перестройку дома? Может, вместо трех детских хватит одной, тем более что дети, а потом и внуки, будут приезжать все реже? Разве он не хотел всегда иметь большую комнату, где мог бы читать и писать книгу, которую планировал написать еще много лет тому назад и для которой при каждом удобном случае собирал материал? Не начать ли им вместе учиться играть в теннис, даже если из них не получится великих спортсменов? А что с тем предложением поработать полгода в Брюсселе, оно еще действительно? Может, ей взять отпуск на полгода и поехать в Брюссель вместе с ним? Он радовался ее фантазиям и энтузиазму. Он тоже строил планы вместе с ней. Но он, собственно, не хотел ничего менять в их общей жизни, только ничего об этом не говорил.

Он не хотел рассказывать ей о своем страхе перед несделанным, он и сам не знал природы этого страха, почему он возникает и почему с возрастом все сильнее его мучает. Он смутно сознавал, что его страх из нежелания что-то менять. В каждом изменении время незавершенного становилось все ошутимее. Но почему? Потому что на изменения необходимо потратить время, а время течет все быстрее и быстрее, убегая от нас. Почему оно убыстряет свой бег? Разве время, в котором живешь в данный момент, как-то соотносится с количеством времени, которое у тебя осталось? Что, с возрастом время убыстряется потому, что того времени, которое у тебя в жизни осталось, становится все меньше? Не потому ли вторая половина отпуска пролетает быстрее, чем первая? А может, тут дело в конечной цели? В молодости кажется, что время течет слишком медленно, потому что ты с нетерпением ждешь успеха, уважения, богатства, а потом оно начинает ускорять свой бег, так как уже нечего больше ждать от жизни? Или с возрастом это происходит потому, что ты знаешь, что произойдет сегодня, завтра... Это как дорога, по которой идешь тем быстрее, чем чаще по ней ходишь? Но тогда он должен хотеть этих изменений. Что, в жизни у него совсем не осталось времени, чтобы потратить его на перемены? Нет, не такой уж он старый!

Она не замечала, что за всеми его возражениями стояло абсолютное отрицание. Но когда он однажды особенно горячо настаивал на одном весьма глупом аргументе, она раздраженно, но с улыбкой спросила, а чего же он, собственно, хочет? Продолжать жить так же, как все последние годы?

Они взяли напрокат большой автомобиль, кабриолет, с кондиционером, проигрывателем компакт-дисков и прочей электронной дребеденью. Они купили себе компакт-дисков, и любимых, и первых попавшихся. Когда они въехали на побережье и впервые увидели Тихий океан, она поставила симфонию Шуберта. Он бы с большим удовольствием продолжал слушать американскую радиостанцию, передававшую музыку тех времен, когда он еще учился в школе. С еще большим удовольствием он остался бы в машине, чем вылезать из нее и стоять под дождем. Но симфония была так созвучна дождю, серому небу, свинцовым бьющимся волнам, что он почувствовал, у него нет права нарушать эту созвучность, созданную его женой. Она села за руль, нашла узкую дорожку, ведущую к пляжу. Она побеспокоилась о том, чтобы в багажнике нашлась голубая полиэтиленовая накидка, в которую они завернулись. Они стояли на пляже, вдыхали запах моря, слушали Шуберта, крики чаек и барабанную дробь дождя, смотрели на полоску светлого вечернего неба на западе. Воздух был хотя и прохладным, но тяжелым и влажным.

Через какое-то время ему стало душно под накидкой, он секунду постоял в нерешительности под дождем, потом вдруг решился, пошел по песку к воде, зашел в нее по щиколотку, потом глубже. Вода была холодной, промокшие туфли – тяжелыми, мокрые брюки прилипали к ногам, не было ничего от той легкости, которую обычно испытываешь в воде, но все же ему было хорошо, и он хлопал руками по воде и бросался в набегавшие волны. Вечером, когда они уже лежали в постели, его жена все еще восхищалась этой его «спонтанностью». Сам он был скорее испуган и ужасно смущен.

Они выбрали для своего путешествия правильный распорядок, проделывали в заданном ритме ровно по сотне миль в день, забираясь все дальше на юг. Они бездельничали по утрам, в пути часто делали остановки, посещали национальные парки и виноградники, часами бродили по пляжу. Останавливались там, где их застала ночь, то в дрянном мотеле на хайвэе с большими комнатами, пахнущими дезинфицирующими средствами, с привинченными к консолям на высоте человеческого роста телевизорами, то в жилом доме, где предлагали постель и завтрак. Они уставали за день, ложились сразу в постель, хотя было не так уж поздно. Во всяком случае, они убеждали друг друга в своей усталости, лежа в постели с книгой и бутылкой вина. У него начинали слипаться глаза, он выключал ночник. Однажды он проснулся около полуночи и увидел, что она все еще читает.

## 7

В Орегоне побережье и дороги окутал туман. С утра они надеялись, что к обеду распогодится, а вечером подумали, что, может, завтра туман рассеется. Но назавтра туман клубился над дорогами, висел над лесами, окутывал фермы. И если бы они не сверялись с картой, где были обозначены деревушки, через которые они проезжали, часто это были всего два дома, они бы их и вовсе не заметили. Иногда они час-другой ехали по лесу, не встретив ни одного дома, ни одного автомобиля. Как-то раз они вышли из машины, и звук работающего двигателя как бы разбился о толстые стволы деревьев, но вовсе не пропал, остался рядом, лишь приглушенный туманом. Они выключили двигатель, все стихло: ни треска в кустах, ни птичьего гомона, ни рокота моря.

Они давно проехали последний поселок, до ближайшего оставалось миль тридцать, когда дорожный указатель возвестил, что впереди – бензоколонка. И тут она возникла из тумана: широкая, посыпанная гравием площадка с двумя заправочными колонками, фонарь, поодаль – расплывчатые очертания дома. Он притормозил, остановился на площадке. Они ждали. Он вышел из машины, пошел к дому, дверь открылась, оттуда вышла женщина. Она поздоровалась, взяла сливной шланг, повернула рычаг и начала наполнять бензобак. Она стояла возле машины, держала в правой руке вентиль сливного шланга, левая лежала на бедре. Она видела, что он не отрывает от нее глаз.

– Вентиль сломался, мне нужно самой залить бензин. Сейчас я протру вам стекла.



– Вам здесь не слишком одиноко?

Она смотрела на него удивленно и настороженно. Она была уже немолода, в ее настороженности сквозила враждебность женщины, которая слишком часто увлекалась и так же часто разочаровывалась.

– Последний поселок за двадцать миль отсюда, а до следующего тридцать, это ведь... Я имею в виду, не чувствуете ли вы здесь себя одиноко? Вы здесь совсем одна?

Она видела серьезность, внимательность и нежность в его глазах и улыбнулась. Потому, что не хотела подпасть под очарование его глаз, улыбнулась она саркастически. Он ответил ей улыбкой, счастливый и смущенный тем, что ему предстояло ей сказать.

– Вы очень красивы.

Она порозовела, это было почти незаметно под густой россыпью веснушек, улыбка тут же пропала. Теперь она смотрела на него серьезно. Красива? Ее красота ушла, и она знала об этом, хотя до сих пор нравилась мужчинам, пробуждала в них желание, но могла и нагнать на них страху. Она изучала его лицо.

– Да уж, здесь одиноко, но я к этому привыкла. Кроме того... – Она запнулась, опустила глаза на вентиль, потом снова заглянула ему в глаза, залилась краской и, выпрямившись, поведала ему с каким-то детским вызовом самое сокровенное: – Кроме того, не всегда же я буду одна.

Какое-то мгновение она так и стояла, прямая, раскрасневшаяся, глядя ему прямо в глаза. Бак наполнился, она закрыла его, отошла от машины, повесила шланг. Наклонилась, взяла из ведра губку, отвела дворники и начала протирать ветровое стекло. Он видел, с каким любопытством она посматривает на его жену, та углубилась в карту, расстелив ее на коленях. Она бросила на женщину с бензоколонки быстрый взгляд, кивнула ей, улыбнулась ему и вновь уткнулась в карту.

Ему было неудобно вот так стоять перед ней в то время, как она моет стекла. Но ему нравилось смотреть на нее, его умиляло, как она ловко работает. На ней не было ни джинсов, ни клетчатой рубашки, ни застиранного голубенького платья, ее крепкое тело обтекало темно-синий комбинезон бензиновой компании, а под ним – белая футболка. Она была крепко сбита, но движения ее были легкими. Она даже казалась грациозной, будто наслаждаясь силой и легкостью своего тела. Лямка комбинезона соскользнула с плеча, она как-то очень женственно поправила ее, и этот жест растрогал его.

Она закончила мыть стекла, он подал ей деньги. Она направилась к дому, чтобы принести сдачу. Он шел следом. Сделав пару шагов по хрустящему гравию, она коснулась его ладони.

– Вам не надо идти со мной. Я вынесу вам сдачу.

## 8

Он остался стоять на площадке, на полпути между машиной и домом. Дверь за ней захлопнулась, щелкнул замок. Сколько у меня времени, чтобы принять решение? Минута? Две? Сколько ей понадобится времени, чтобы вынести сдачу? Какой здесь порядок? Есть ли у нее кассовый аппарат, где аккуратно разложены монеты и купюры и нужно только вытащить несколько монет или пару бумажек? Поспешит ли она со сдачей или уже поняла, что я радуюсь каждой лишней минуте?

Он посмотрел под ноги и увидел, что гравий влажный от тумана. Носком ботинка он перевернул камешек: интересно, такой ли он мокрый снизу. Да, камень был мокрый. Он учил своих сотрудников, что обдумывание решения и принятие решения – разные вещи, что долгое обдумывание не приводит ни к правильному, ни вообще к какому-либо решению и делает процесс принятия решения настолько сложным и тяжелым, что в итоге решение не принимается никогда. Для обдумывания нужно время, а для принятия решения – мужество, так он всегда говорил, и сейчас ясно понял, что ему не хватает не времени на обдумывание, а мужества в принятии решения. А еще он знал, что жизнь ведет подсчет всем нашим

решениям – как принятым, так и не принятым. Если он не примет решения остаться здесь, он поедет дальше, хотя и не принимал решения ехать дальше. Остаться здесь – а что я скажу ей? Спросить ее, можно ли мне здесь остаться? И что она ответит? Ответит «нет», даже если хотелось бы сказать «да», чтобы не брать на себя ответственность, навязанную ей моим вопросом? Было бы лучше, когда она покажется на пороге, уже стоять с сумкой и чемоданом, а машина должна уехать. А если она не хочет, чтобы я остался с ней? Или, может быть, сейчас хочет, а потом расхочет? Нет, так не пойдет. Если мы сейчас хотим друг друга, то это – навсегда.

Он пошел к машине. Хотел сказать жене, что они ошиблись, что возродить их брак невозможно, даже если очень этого захотеть. Что в последние недели к его радости примешивалась крупинка горечи и что он не хочет навсегда остаться с этой горечью. Он знает, это безумие – поставить все на кон ради женщины, которой он не знает и которая не знает его. Но пусть уж лучше он сойдет с ума от радости, чем будет жить разумным и грустным.

Он сделал несколько шагов к машине, жена подняла голову. Она посмотрела в его сторону, опустила стекло и что-то крикнула. Он не расслышал. Она повторила, что нашла на карте песчаные дюны. За завтраком они вспоминали фотографии, там были дюны и кусты, и тщетно пытались найти их на карте. Она их нашла. Отсюда недалеко, они доберутся туда к вечеру. Она вся сияла.

Ее умение радоваться мелочам – как часто она поражала его и восхищала своей радостью. И та доверчивость, с которой она делилась своей радостью. Эта доверчивость была совсем детской, полной ожидания и надежды, что все кругом непременно добрые, радуются добру и по-доброму реагируют. Уже много лет он не видел жену такой открытой, лишь в последние недели эта доверчивость вернулась к ней.

Он видел ее радость. Ее радость захлестнула его. Ну что, он готов? Они могут ехать?

Он кивнул, почти бегом устремился к машине, сел за руль, запустил двигатель. Он ушел, не оглянувшись на женщину с бензоколонки.

## 9

Жена рассказывала, как нашла на карте дюны и почему они не нашли их утром. Они приедут вечером, она знает, где можно остановиться. И сколько километров они проедут завтра. И какой высоты дюны.

Через некоторое время она заметила, что что-то не так. Он ехал медленно, внимательно всматривался в туман, иногда откликнулся на ее слова одобрительным или поощрительным хмыканьем. То, что он не разговаривал, было в порядке вещей, но этот плотно сжатый рот и желваки на скулах? Она спросила у него, что случилось. Что-то с двигателем, покрышками, колесами? Его раздражает туман на дороге? Что-то не так? Сначала она спрашивала спокойно, потом встревоженно. Как он себя чувствует? Что-то болит? Когда он съехал на обочину и остановился, она была уверена, что у него разболелось сердце или подскочило давление. Он застыл в одной позе, положив руки на руль и устремив взгляд в одну точку.

– Оставь меня, – сказал он и хотел ехать дальше; понадобилась лишь секунда, чтобы слова сняли то напряжение, что сжало ему горло, свело намертво скулы и сдерживало готовые пролиться слезы. Уже лет сорок он не плакал. Он пытался подавить всхлипы, но раздался придушенный стон, а стон сменился воем. Он замахал руками, прося простить его, понять, что это отчаяние навалилось внезапно, что он не хотел плакать, но иначе не может. Потом слезы смыли эту потребность в извинениях и объяснениях, он просто сидел, положив руки на колени и опустив голову, плечи его тряслись, он рыдал. Она хотела обнять его, но он отстранился, остался сидеть, как сидел. Рыдания не прекращались, и она решила поискать в ближайшем поселке гостиницу, а может, и врач найдется. Она хотела приподнять его и передвинуть на сиденье рядом с водителем, но он сам пересел.

Она дала газ. Он продолжал плакать. Он оплакивал свой сон, оплакивал возможности,

которые дарила ему жизнь и которых он не смог или не захотел реализовать, оплакивал все, чего уже не вернешь и не изменишь. Ничего нельзя вернуть. Он плакал потому, что понял – если чего-то хочешь, надо хотеть изо всех сил; и потому, что часто не знал, чего же он хочет. Он оплакивал все, что было плохим в его семейной жизни, равно как и то, что было хорошим. Он оплакивал разочарование, которое их постигло, их надежды и ожидание счастья, проснувшиеся в эти последние недели. Все, что он вспоминал, почему-то было печальным и болезненным, все самое прекрасное и счастливое в их жизни было преходящим. Любовь, семья, когда все еще было хорошо, счастливые годы с детьми, удовольствие от своей профессии, увлечение книгами и музыкой – все прошло. Перед его внутренним взором проходили эпизоды его жизни, он пристально вглядывался в эти картинки и различал черную печать, где жирными черными буквами в жирном черном кругу было написано: ПРОШЛО.

Прошло? Нет, не просто прошло мимо него и без его участия. Он сам разрушил тот мир, который создала их любовь. И теперь уже не будет никакого мира, ни черно-белого, ни цветного.

У него больше не было слез. Он был утомлен и опустошен. Он вдруг понял, что оплакал свою семейную жизнь, как будто сейчас эта жизнь закончилась, свою жену, как будто сейчас он ее потерял.

Она посмотрела на него, улыбнулась:

– Ну что?

Они проехали указатель с названием населенного пункта, числом жителей и высотой над уровнем моря. Две сотни жителей, подумал он, и уже маленький город. И всего несколько метров над уровнем моря, оно где-то близко, хотя его и не видно в тумане.

– Останови, пожалуйста.

Она съехала на обочину и остановилась.

«Сейчас, – подумал он, – сейчас».

– Я здесь выйду. Дальше я с тобой не поеду. Я знаю, что веду себя ужасно. Мне бы надо было все это предвидеть. Но я не мог всего знать. Мы пытаемся построить жизнь на развалинах. А я не хочу жить с тобой на развалинах. Я хочу попробовать начать все заново.

– Что? Что ты хочешь попробовать?

– Жить, любить, все сначала, именно все.

Под ее отчужденным, оскорбленным взглядом он сжался, и все, что он сказал ей, показалось по-детски наивным. Если она спросит, что он собирается делать, что он здесь забыл, на что будет жить, что будет с той его жизнью, дома, – он не сможет ответить.

– Давай поедem к дюнам. Уйти ты всегда сможешь. Мне тебя не удержать. Давай поговорим, если ты, конечно, не попал в глубокую яму. Может, ты и прав, и мы предали то, что между нами было и чего потом уже не было никогда. Тогда мы это наверстаем. – Она положила ладонь ему на колено. – Да?

Она была права. Неужели они не могут просто доехать до того поселка, где дюны, и поговорить откровенно? Или он не может ей сказать, чтобы она оставила его здесь, а сама ехала дальше, ему необходимо всего лишь несколько дней, он потом догонит ее, в крайнем случае, приедет в аэропорт к отлету. И не должен ли он рассказать жене о своем сне и о женщине с бензоколонки? Это было бы честно?

– Я могу уйти только сейчас. – Он вышел из машины. – Открой, пожалуйста, багажник.

Она покачала головой.

Он обошел машину, открыл дверцу с ее стороны, потянул за рычажок между сиденьем и дверцей. Крышка багажника отскочила. Он вытащил чемодан и сумку, поставил их на землю. Потом захлопнул крышку и подошел к дверце. Она еще была открыта. Жена смотрела на него. Он медленно и спокойно затворил дверцу, но ему показалось, что этой дверцей он ударил ее по лицу. Она продолжала смотреть на него. Он взял чемодан и сумку и пошел прочь. Сделал первый шаг, не знал, сумеет ли сделать второй, а когда сделает второй, то сможет ли сделать третий и четвертый. Если он остановится, то обязательно оглянется, вернется, сядет в машину. И если она сейчас не уедет, он не сможет уйти. Поезжай, молил

он, поезжай.

Наконец она завела машину и уехала. Он обернулся лишь тогда, когда машины и след простыл. Ее тоже поглотил туман.

## 10

Он нашел какой-то мотель и снял за небольшую цену комнату. Нашел ресторанчик с высокой стойкой, столами, покрытыми пластиком, пластмассовыми же стульями и музыкальным автоматом. Он много пил, был то беспричинно весел, то снова плакал и плакал бы опять, если бы не говорил себе, что в этот день уже достаточно наплакался. Это был единственный ресторанчик в поселке, и он постоянно прислушивался, не подъехала ли машина, не выходит ли из нее кто-то, и по тому, как скрипит гравий, он узнает походку своей жены. Он ждал ее в огромной тоске и с великим страхом.

На следующее утро он пошел к морю. Над пляжем повисли клочья тумана, небо и море были серыми, воздух теплым, влажным и тяжелым. Он почувствовал, что у него еще много-много времени впереди.